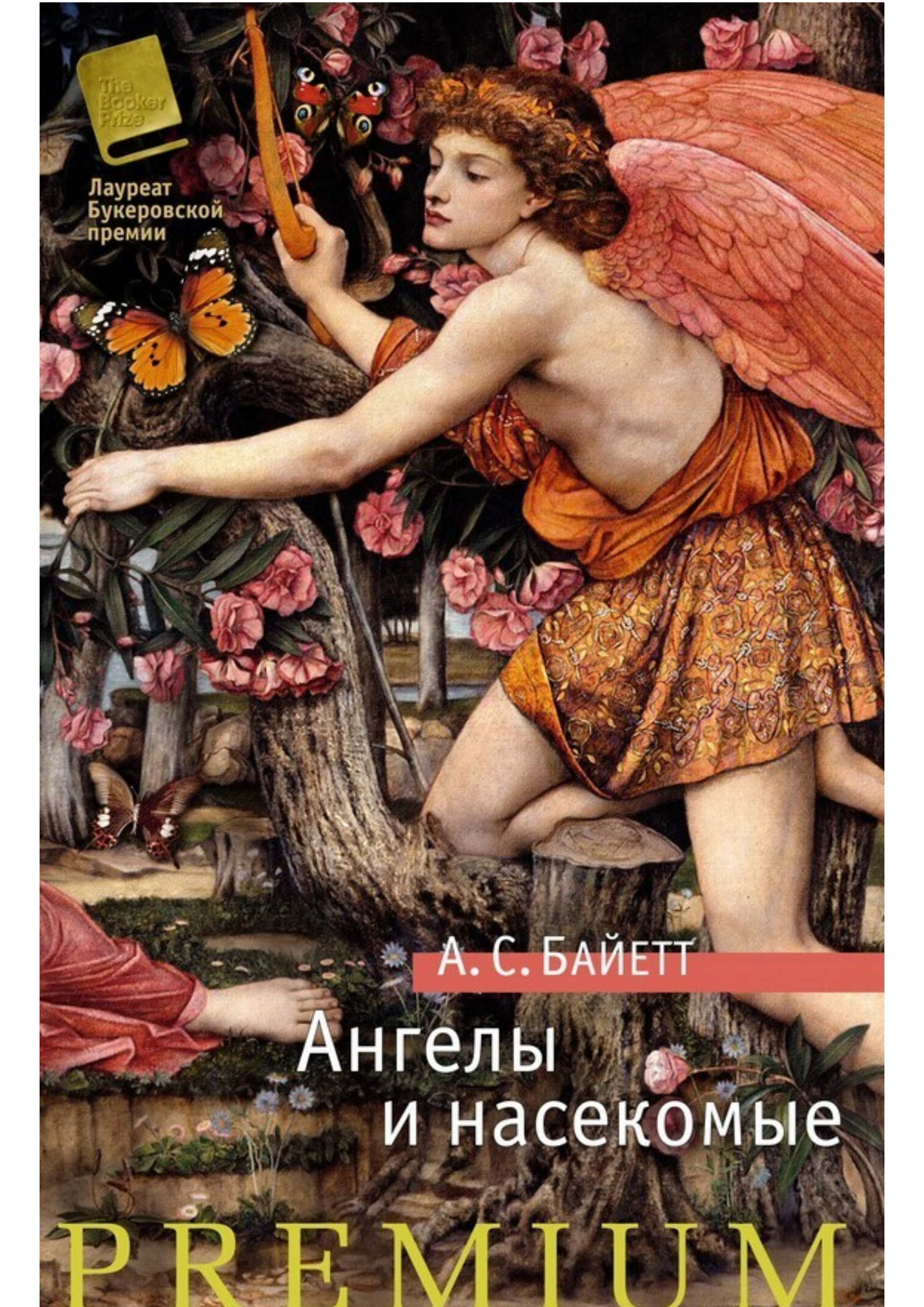




The
Booker
Prize

Лауреат
Букеровской
премии



А. С. БАЙЕТТ

Ангелы
и насекомые

PREMIUM

Азбука Premium

Антония Сюзен Байетт

Ангелы и насекомые (сборник)

«Азбука-Аттикус»

1992

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

Байетт А.

Ангелы и насекомые (сборник) / А. Байетт — «Азбука-Аттикус»,
1992 — (Азбука Premium)

ISBN 978-5-389-12785-2

От автора удостоенного Букеровской премии романа «Обладать» и кавалерственной дамы ордена Британской империи – две тонко взаимосвязанные повести о нравах викторианской знати, объединенные под общим названием «Ангелы и насекомые». Это – «возможно, лучшая книга Байетт после „Обладать“» (Times Literary Supplement). Искренность чувств сочетается здесь с интеллектуальной игрой, историческая достоверность – с вымыслом. Здесь потерпевший кораблекрушение натуралист пытается найти счастье в семье, где тайные страсти так же непостижимы, как и поведение насекомых, а увлекающиеся спиритизмом последователи шведского мистика Сведенборга и вправду оказываются во власти призрака... Повесть «Морфо Евгения» послужила режиссеру Филипу Хаасу основой для нашумевшего фильма «Ангелы и насекомые».

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44

ISBN 978-5-389-12785-2

© Байетт А., 1992
© Азбука-Аттикус, 1992

Содержание

Морфо Евгения	6
Конец ознакомительного фрагмента.	49

А. С. Байетт

Ангелы и насекомые

A. S. Wyatt
ANGELS AND INSECTS

Серия «Азбука Premium»

Copyright © 1992 by A. S. Wyatt
All rights reserved

© М. Наумов, перевод, 2017

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2017

Издательство АЗБУКА®

* * *

Посвящается Жан-Луи Шевалье



Морфо Евгения



– Вы должны танцевать, мистер Адамсон, – сказала леди Алабастер, которая устроилась на софе. – Очень мило с вашей стороны, что вы составили мне компанию и принесли лимонаду, но я убеждена, что вам непременно надо танцевать. Наши юные дамы расфуфырились ради вас. Надеюсь, они не зря старались.

– Да, они все просто очаровательны, – ответил Вильям Адамсон, – но я давно не танцевал на балах.

– В джунглях не очень-то потанцуешь, – заявил Эдгар Алабастер.

– Напротив. Там все время танцуют. В дни христианских и языческих праздников танцуют недели напролет. А в глубине материка увлекаются индейскими плясками – танцоры часами прыгают, подражая дятлам и вихляниям броненосцев.

Вильям открыл было рот, чтобы продолжить, но осекся: путешественники, возвратившиеся домой, слишком увлекаются бесконечными монологами, стараясь поделиться своими познаниями.

Леди Алабастер удобнее расположила свои обтянутые черным шелком тела на софе, обитой розовым атласом.

Она не уступала:

– Если вам самому трудно сделать выбор, я попрошу Мэтти подыскать вам хорошенькую партнершу.

Мимо них проносились, кружась, девушки, и наряды их, небесно-голубые, серебристые, лимонные, из газа и тюля, переливались в свете свечей. Небольшой оркестр из двух скрипок, флейты, фагота и виолончели скрипел, взвизгивал и бухал на галерее. Во фраке, одолженном у Лайонела Алабастера, Вильям Адамсон чувствовал себя немного стесненно, но вполне уверенно. На память ему пришла фиеста на Рио-Манакири. Половинки апельсиновой кожуры, наполненные черепаховым жиром, служили там светильниками. Без сюртука, босоногий, он танцевал с Хизой, хозяйкой фиесты. Ему отвели почетное место за столом по той простой причине, что он был белым. Здесь же из-за своего золотистого, немного желтушного загара он казался смуглым. Высокий, от природы очень худой, после тяжелых испытаний на море он походил на покойника. Перед ним в неярком свете под звуки польки мелькали бледнолицые пары,

тихонько переговаривавшиеся друг с другом. Наконец музыка стихла, и все, смеясь и хлопая в ладоши, разошлись по сторонам. Трех дочерей Алабастеров, Евгению, Ровену и Эниду, кавалеры подвели к кружку, собравшемуся возле их матушки.

У девушек были светло-золотистые волосы и матовая кожа, большие синие глаза обрамлены светлыми шелковистыми ресницами, которые можно было разглядеть, если на них падал свет. Энида, самая младшая и все еще по-детски пухлая, была одета в ярко-розовое платье из тонкой кисеи, с белыми розетками; головку ее украшал веночек из розовых бутонов, сеточка розового цвета поддерживала волосы. Ровена была выше обеих сестер, постоянно смеялась, губы ее были полнее, а румянец ярче, ее волосы, уложенные узлом на затылке, усыпаны жемчужинами и украшены маргаритками. Старшая, Евгения, была в белом тарлатановом платье и шелковой сиреневой нижней юбке; к груди и талии были приколоты букетики фиалок. Она вплела плющ и фиалки в свои гладко причесанные золотистые волосы. У братьев девушек были такие же золотистые кудри и матовая кожа. Вместе они составляли очаровательную однородную группу.

– Бедняжка мистер Адамсон и не подозревал, что в день его приезда мы даем бал, – сказала леди Алабастер. – Ваш отец тотчас послал ему приглашение, как только узнал, что мистер Адамсон провел пятнадцать ужасных дней в Атлантическом океане, ведь его корабль затонул, но ему, слава богу, удалось спастись. Конечно, отцу не терпелось поскорее увидеть образцы фауны, привезенные мистером Адамсоном, и он совсем не думал о намеченном празднике. Так что мистер Адамсон застал у нас страшную суету, а слуги носились по дому сломя голову. По счастью, Лайонел почти одного с ним роста и одолжил ему свой костюм.

– В любом случае я не смог бы появиться сегодня во фраке, – заметил Вильям. – Мои вещи либо сгорели, либо ушли на дно, но и среди них не было парадного платья. Последние два года я прожил в Эге¹, там у меня даже пары ботинок не было.

– Тем не менее, – проговорила беспечно леди Алабастер, – ваши выносливость и сила духа безграничны, и я уверена, их достанет на один танец. Лайонел и Эдгар, извольте исполнить свой долг – ведь дам у нас больше, чем кавалеров. Уж и не знаю, как это выходит, но дам всегда больше.

Вновь заиграла музыка, на этот раз вальс. Вильям поклонился младшей мисс Алабастер и пригласил ее на танец. Она вспыхнула, улыбнулась и приняла приглашение.

– Вы с опаской поглядываете на мои ноги, – заметил Вильям, выводя девушку в круг, – вас страшит, верно, что я неловкий танцор и могу наступить на ваш прелестный башмачок. Постараюсь не причинить вам боли. Приложу все усилия и прошу вас, будьте снисходительны к моей неловкости.

– Должно быть, вы испытываете странные чувства, – сказала Энида Алабастер, – после стольких лет опасности, лишений и одиночества вам приходится принимать участие в подобного рода увеселении.

– Я восхищен! – возразил Вильям, внимательно следя за движением собственных ног и постепенно набираясь уверенности.

В некоторых домах общества в Пара и Манаусе вальс было принято танцевать. Вильям кружил в танце дам с кожей оливковой и бархатно-черной, чья добродетель была сомнительна, а то и вовсе отсутствовала. И сейчас, держа в объятиях это мягкое, молочно-белой, незапятнанной белизны, воздушное и почти неосязаемое создание, он ощутил волнение. Тем не менее ноги его теперь двигались уверенно.

– Вы вальсируете очень умело, – заметила Энида Алабастер.

– По-моему, все же не так умело, как ваш брат, – ответил Вильям.

¹ Эга – устаревшее название бразильского города Тефе. (Здесь и далее примеч. перев.)

Эдгар Алабастер танцевал со своей сестрой Евгенией. Эдгар был крупным, мускулистым мужчиной. Его светлые волосы, волнистыми прядями обрамлявшие продолговатое лицо, колыхались в потоках воздуха; держался он очень прямо. Его большие ступни быстро двигались в замысловатых па в унисон с жемчужно-серыми башмачками Евгении, непринужденно и плавно выписывая фигуры вальса. Они танцевали молча. Эдгар с выражением легкой скуки на лице пробегал взглядом по бальному залу. Глаза Евгении были полузакрыты. Брат и сестра кружились, они скользили в танце, они замирали и делали пируэты.

– Мы подолгу танцуем в классной комнате, – заговорила Энида. – Мэтти аккомпанирует на фортепьяно, а мы все танцуем, танцуем. Разумеется, Эдгар предпочитает верховую езду, но он, как и все мы, обожает двигаться. У Лайонела получается хуже. Он не способен целиком отдаваться танцу. Иногда нам кажется, что мы могли бы танцевать вечно, словно принцессы из сказки.

– Которым удавалось за одну ночь стоптать башмачки.

– И которые, ко всеобщему недоумению, выглядели утром совершенно разбитыми.

– И отказывались выходить замуж, потому что обожали танцевать.

– Кое-кто из наших замужних дам по-прежнему танцует. К примеру, миссис Чипперфилд, та, что в темно-зеленом. Она танцует очень хорошо.

Эдгар и Евгения вернулись на свое место рядом с софой леди Алабастер. Энида продолжала рассказывать Вильяму о своей семье. Когда, делая очередной круг, они приблизились к софе, она сказала:

– До того как случилось несчастье, Евгения танцевала лучше всех.

– Несчастье?

– Она должна была выйти замуж, но капитан Хант, ее жених, внезапно умер. Бедняжка Евгения только-только начала оправляться от ужасного потрясения. По мне, это как овдоветь, не успев выйти замуж. У нас не принято об этом говорить, хотя все, конечно же, всё знают. Не подумайте, что я сплетничаю, но мне кажется, и вам следует знать, поскольку вы останетесь на время у нас.

– Благодарю вас. Вы очень добры. Теперь по неведению я не ляпну какой-нибудь глупости. По-вашему, она согласится танцевать, если я ее приглашу?

– Может быть.

Она согласилась. Она поблагодарила его очень серьезно – ее мягкие губы едва пошевелились, а отсутствующее выражение глубоких глаз – во всяком случае, оно показалось ему таким – ничуть не изменилось, и она протянула ему руки. В его тесных объятиях (ему казалось, он буквально стиснул ее) она была легче, и воздушнее, и менее порывиста, чем Энида. Она двигалась легко и проворно. С высоты своего роста он видел ее бледное лицо, ее крупные веки, почти прозрачные, так что сквозь кожу просвечивала сеточка жилок, видел окаймлявшие их светлые, золотистые густые ресницы. Через перчатку он чувствовал слабое тепло тонких пальцев, лежащих в его руке. Ее непорочно-белые плечи и бюст окружала кипень тюля и тарлатана, подобно пене морской, породившей Афродиту. Простая нитка белоснежного жемчуга, мерцающая, едва выделялась на белоснежной шее. Ее нагота была гордой и недоступной. Вильям увлек ее за собой; к стыду своему и изумлению, он ощутил, как его охватывает волнение. Он будто сжался весь под защитой фрака, одолженного у Лайонела, и подумал, будучи прежде всего ученым-натуралистом, что цель танцев и заключалась в том, чтобы пробудить в нем именно это желание, несмотря на целомудренность перчаток, на невинность молодой женщины, которую он держал в объятиях. Он вспомнил, как во время одной из плясок свингующий круг танцоров, опьяненных пальмовым вином, распался при смене ритма на пары, которые, обнявшись, принялись отплясывать вокруг кого-то, кому не досталось партнера. Он припомнил, как темногрудые женщины, блестящие от пота и масла, прижимались и льнули к нему, припомнил

их грубые объятия и бесстыдные прикосновения. Видения из далекого, иного мира, казалось, сопровождали каждое его действие, каждый поступок.

– Вы думаете об Амазонке, – промолвила Евгения.

– Вы обладаете даром угадывать чужие мысли?

– Просто мне показалось, что вы где-то далеко. Амазонка ведь тоже далеко отсюда.

– Я думал, какая здесь красота: и архитектура, и молодые женщины в тюле и кружевах. Я смотрел на этот чудный готический свод, который, как говорит мистер Рёскин², подобен первобытной фантазии лесных деревьев, сплетающих кроны в вышине, думал о пальмах, возвышающихся, словно башни в джунглях, о прекрасных бабочках с шелковыми крыльями, что парят на недостижимой высоте.

– Как это необычно, наверное, – ответила Евгения. Помолчав, добавила: – Я сделала прекрасное панно, что-то вроде лоскутного одеяла, похожее на цветную вышивку, из образцов, что вы прислали отцу. Я очень осторожно приколола их на бумагу, они столь изысканны – и создается впечатление, что перед вами украшенная бахромой подушка; никакой шелк не сравнится с тончайшими, неуловимыми оттенками их окраски.

– Туземцы были уверены, что мы ловим бабочек, чтобы использовать рисунки на крыльях для набивки ситца. Только так они могли себе объяснить наш интерес к этим насекомым, поскольку бабочек не употребляют в пищу, а те, что кормятся на ядовитых растениях, могут отравить. Причем это наиболее яркие экземпляры, которые парят неторопливо и гордо, как бы предостерегая об опасности, красуясь перед вами. И это, разумеется, самцы; их великолепие привлекает невзрачных самочек. В этом индейцы на них похожи: мужчины украшают себя пестрыми перьями, краской разнообразных оттенков, самоцветами. Женщины гораздо неприметнее. У нас же мужчины носят, словно черные тараканы, подобие хитиновых панцирей, а вы, женщины, напоминаете пышно расцветший сад.

– Отец очень расстроился, когда узнал, что вы стали жертвой ужасного кораблекрушения и все потеряли. Ему стало жаль и вас, и себя. Он мечтал пополнить свою коллекцию.

– Мне удалось спасти наиболее редкие и красивые экземпляры. Я хранил их в коробке в изголовье кровати, мне нравилось разглядывать их; и они оказались под рукой, когда стало ясно, что надо покинуть корабль. Спасать мертвую бабочку – в этом есть что-то трогательное. Впрочем, одна из них очень редкая; не буду распространяться на эту тему, но уверен, что и ваш отец, и вы рады будете ее получить. Пусть это будет сюрпризом.

– Терпеть не могу, когда мне сообщают о готовящемся сюрпризе, но не хотят рассказать, в чем он заключается.

– Вы не любите неопределенность?

– Не терплю! Всегда хочу знать, что меня ждет. Меня пугает неожиданность.

– Значит, мне следует запомнить: я не должен преподносить вам сюрпризы, – подхватил он, подумав, как глупо прозвучали его слова. Поэтому ее молчание его не удивило.

В ложбинке, где сходились ее округлые груди и начиналась фиолетовая тень, выделялась ярко-красная родинка размером с небольшого муравья. Под сливочно-белой кожей проступали голубые жилки. Желание снова требовательно шевельнулось в нем, и он показался себе нечистым и опасным. Он проговорил:

– Для меня большая честь, мисс Алабастер, стать членом вашего счастливого семейства, пусть и на время.

При этих словах она взглянула на него, и ее огромные синие глаза распахнулись. Казалось, они светились от невыплаканных слез.

² *Рёскин Джон* (1819–1900) – английский писатель, критик и художник, возглавивший возрождение готической архитектуры в викторианской Англии. Оказал большое влияние на художественные вкусы своего времени.

– Я люблю свою семью, мистер Адамсон. Мы счастливы вместе. Мы очень-очень любим друг друга.

– Судьба улыбнулась вам.

– О да, я знаю. Нам улыбнулась судьба.

После десяти лет, что он прожил в лесах Амазонки, и особенно после тех дней, что провел в бреду, дрейфуя на спасательной шлюпке в Атлантическом океане, чистая и мягкая английская постель стала для Вильяма символом райского отдохновения.

Он пришел к себе далеко за полночь, но худощавая, молчаливая горничная ожидала его, чтобы принести теплой воды и согреть постель; потупив взор, она беззвучно сновала по комнате. В спальне была небольшая оконная ниша, украшенная резьбой, на круглом витражном стекле изображены две белые лилии. В комнате с готическими сводами были вполне современные удобства: кровать красного дерева с резным узором из листьев плюща и ягод падуба, на которой покоились перина, набитая гусиным пухом, и мягкие шерстяные одеяла, а поверх – искусно расшитое тюдоровскими розами белоснежное покрывало. Однако он не спешил забраться в постель, вместо этого поставил на стол свечу и достал дневник.

Он вел дневник много лет. В юности, когда жил в деревне Ротерхем в Йоркшире, каждый день письменно экзаменовал свою совесть. Его отец, богатый мясник и непоколебимый методист, определил сыновей в хорошую местную школу, где они освоили греческий, латынь, основы математики, и требовал, чтобы братья ходили в церковь. Вильям, уже тогда любивший все классифицировать, подметил, что мясники, как правило, люди в теле, шумные и упрямые. У Мартина Адамсона, как и у сына, была грива темных блестящих волос, длинный и крепкий нос и зоркие голубые глаза под прямой линией бровей. Ремесло служило ему источником удовольствия: ему нравилось разделывать туши, он наслаждался искусством приготовления колбас и мясных пирогов и умением выполнять ножом более тонкую работу. Образ адского пламени пугал его несказанно, днем мерцая в закоулках воображения, по ночам разгораясь и пожирая его сны. Он продавал первосортную говядину заводчикам и владельцам шахт, а шейную часть и потроха – шахтерам и фабричным рабочим. Возлагая большие надежды на будущее Вильяма, тем не менее ни к чему конкретному он его не склонял, лишь бы его профессия была хорошей и с перспективой роста.

Вильям вырабатывал наблюдательность на дворе фермы и на бойне, где пол был покрыт пропитанными кровью опилками. Для призвания, которое он наконец для себя определил, отцовские навыки оказались неоценимы: Вильям научился отменно обдирать, препарировать и коллекционировать экземпляры птиц, зверей и насекомых. Он анатомировал муравьедов, кузнечиков, муравьев с отцовской тщательностью, правда в микроскопическом масштабе. Дневники дней, что он провел на ферме и на бойне, отражали его стремление стать великим и самобичевание за грехи – за гордыню, недостаточное смирение, самомнение, медлительность и нерешительность на пути к величию. Он попробовал свои силы в школе и управляющим в цехе чесальщиков шерсти, но о своих успехах на этом поприще писал с горечью: он был хорошим учителем латыни и видел, что вызывало затруднения у учеников; способный управляющий, он быстро находил лодырей и прогульщиков, а если надо было, мог быстро помочь, но его дарования, что бы они собой ни представляли, не проявлялись; он топтался на месте, а намеревался пойти далеко. Он не смог бы сейчас перечитать эти дневники, полные навязчивых, мучительных мыслей, жалоб на то, что ему не хватает воздуха, самобичевания, но он хранил их в одном из банков как часть отчета, отчета детального, о развитии ума и характера Вильяма Адамсона, который все еще не оставил надежды стать великим человеком.

Тон записей изменился, когда он занялся коллекционированием. Он предпринимал теперь долгие прогулки по сельской местности (в той части Йоркшира, где он жил, поля и кра-

сивейшая пустошь соседствовали с темными, грязными уголками) и первое время был охвачен религиозным экстазом, который соединился с преклонением перед поэзией Вордсворта; он искал знаки Божественной любви и порядка в каждой цветущей былинке, в журчащем ручье, в изменчивых облаках. Позже он стал брать с собой коробку, в которой относил растения домой, где их высушивал и с помощью «Энциклопедии растений» Лудона³ классифицировал. Он находил представителей крестоцветных, зонтичных, губоцветных, розоцветных, бобовых, сложноцветных и великое множество их разновидностей, сменяющих друг друга в зависимости от места произрастания и климата, затемняя и размывая строгую упорядоченность ветвей классификации. Одно время в его дневнике стали появляться записи о чуде Божьего промысла, и незаметно для себя он перестал копаться в себе и перешел к описанию венчиков, форм листовых пластинок, живых изгородей, болот и заросших берегов. Впервые его дневник наполнился радостью обретенной цели. Тогда же он принялся собирать насекомых и был поражен, обнаружив на нескольких квадратных милях поросшей вереском пустоши сотни разных видов жуков. Частенько наведываясь на бойню, он подмечал, где предпочитают откладывать яйца мясные мухи, описывал, как двигаются и питаются их личинки, как кишит и плодится вся эта неорганизованная с виду масса, движимая каким-то упорядочивающим началом. Кажется, мир изменился: вырос и стал ярче; зеленые, голубые и серые акварельные краски уступили место яркому, режущему глаз узору из тонких линий и разлетающихся точек, блестящих черных и малиновых пятен и полосок, радужно-изумрудных, темно-коричневых, как жженный сахар, и влажно-серебристых.

Позже он понял, что его главная страсть – общественные насекомые. Он рассматривал правильные ячейки сот в ульях, наблюдал за цепочками муравьев, которые общались при помощи тонких усиков и всем скопом перетаскивали крылья бабочки и кусочки клубничной мякоти. Подобно глупому великану, он стоял и смотрел, как эти непостижимые создания, проявляя недюжинный ум, созидают и разрушают в трещинах брусчатки у него под ногами. Вот он, ключ к пониманию мира. Он посвятил целые страницы дневника наблюдению над муравьями. Тогда, в 1847-м, ему было 22 года. В том же году в роттерхамской школе механики он познакомился с энтомологом-любителем, и тот показал ему в журнале «Зоолог» статьи Генри Уолтера Бейтса⁴, где, в частности, шла речь об отряде жесткокрылых. Он написал Бейтсу, изложив собственные наблюдения над муравьиными сообществами, и получил благосклонный ответ; Бейтс советовал ему работать и далее, добавив, что «с другом и коллегой Альфредом Уоллесом⁵ задумал экспедицию в амазонские джунгли в поисках неведомых доселе животных». Вильям уже был знаком с отчетами Гумбольдта⁶ и В. Г. Эдвардса, красочно описавшими буйство амазонской флоры, игривых и неунывающих носух, агути, ленивцев; кричаще оперенных трогонов, момотов, дятлов, дроздов, попугаев, манакинов и бабочек «величиной с ладонь, насыщенной металлической синевы». Неизведанные леса, покрывающие миллионы квадратных миль, способны принять в свои сияющие девственные глубины, кроме Уоллеса и Бейтса, еще одного английского энтомолога. Там ему встретятся новые виды муравьев, которые, не исключено,

³ *Лудон Джон* (1783–1843) – шотландский архитектор и садовод; им был написан ряд работ по садоводству, парководству и малым архитектурным формам.

⁴ *Бейтс* (Бэ́тс) *Уолтер* (1825–1892) – английский естествоиспытатель, энтомолог, который в 1862 г. дал объяснение паразитальному сходству окраски некоторых бразильских лесных бабочек, принадлежащих к разным семействам. Он показал, что птицы избегают склевывать ядовитых или неприятных на вкус бабочек, распознавая их по специфической окраске, и что существуют съедобные виды, маскирующиеся под несъедобные. Таким образом, Бейтс стал первооткрывателем мимикрии в природе. Указанный вид мимикрии назван в его честь мимикрией Бейтса.

⁵ *Уоллес Альфред* (1823–1913) – английский естествоиспытатель, независимо от Ч. Дарвина разработавший в 1858 г. эволюционную теорию, в которой движущей силой эволюции выступал естественный отбор.

⁶ *Гумбольдт Александр фон* (1769–1859) – немецкий путешественник, натуралист. Гумбольдт внес большой вклад в развитие физической географии и биогеографии. В 1799–1804 гг. участвовал в экспедиции по Южной Америке.

будут названы в его честь *adamsonii*, там будет где развернуться сыну мясника на его пути к величию.

Восторженные, фантастические мечты перемежались теперь в его записях со сметами затрат на оборудование, на ящики для образцов, с названиями кораблей и полезными адресами. Вильям покинул Англию годом позже Уоллеса и Бейтса – в 1849 году, а вернулся в 1859-м. Бейтс дал ему адрес своего коммерческого агента Сэмюэла Стивенса, который получал и продавал собранные натуралистами образцы. Он-то и рассказал о Вильяме преподавателю Гаральду Алабастеру, который лишь по смерти своего бездетного брата в 1848 году унаследовал титул баронета и особняк в готическом стиле. Страстный коллекционер, Алабастер писал своему новому другу, которого никогда не видел, длинные письма, достигавшие адресата спустя долгое время; его одинаково интересовали как верования аборигенов, так и повадки бражника и муравья зойба. Вильям отвечал тоном выдающегося натуралиста, забравшегося в глушь, куда до него не ступала нога человека, приправляя письма милым самоуничижительным юмором. В письме, которое Вильям получил через год после того, как оно было отправлено, Гаральд Алабастер поведал ему о жестоком пожаре на судне Уоллеса в 1852 году. Перспектива, что на обратном пути еще один натуралист может потерпеть крушение, почему-то представлялась Вильяму маловероятной, – как оказалось, напрасно. Бриг «Флер-де-Ли» был прогнившим негодным судном, и Вильям не застраховал на случай гибели свою коллекцию. Как всякий человек, избежавший смерти, он был полон простой радости, что жив, когда получил от Гаральда Алабастера письмо с приглашением, и, собрав все, что удалось спасти, включая тропические дневники и самых ценных бабочек, отправился в Бридли-холл.

Дневники, что он вел в тропиках, были сплошь в пятнах (коробку он залил парафином, уберегая от жвал муравьев и термитов), в грязи и листовенном соке, что было следствием не всегда удачных перевозок в каноэ; соленая вода, словно обильные слезы, оставила на страницах чернильные разводы. Он сидел в одиночестве в лачуге с кровлей, сплетенной из листьев, и земляным полом и торопился описать все: прожорливые орды муравьев-легионеров, крики лягушек и аллигаторов; замыслы наемных помощников, сговаривавшихся его убить; однообразные зловещие вопли ревунов; языки племен, среди которых жил; бесконечные различия в окраске бабочек, нашествия кусачих мух и утрату душевного равновесия в огромном зеленом мире бессмысленного изобилия, буйной растительности, неторопливого, бесцельного и бездушного существования. Напрягая глаза при свете горящего черепахового жира, он писал, как одинок, как ничтожен по сравнению с рекой и лесом; как полон решимости вынести все, хотя в то же время уподоблял себя мошке, бьющейся в склянке коллекционера. Он привык выражаться, не имея возможности говорить на родном языке, в письменной форме, хотя бегло владел португальским, *lingua geral*, языком большинства аборигенов, и несколькими племенными наречиями. Изучение древнегреческого и латыни развило в нем вкус к языкам. Упражнения в описании природы сделали его ценителем поэзии. В джунглях он читал и перечитывал «Потерянный рай», «Рай обретенный» и сборник «Перлы наших старых поэтов». Эту книгу он и взялся теперь читать. Было, наверное, не меньше часа ночи, но кровь его кипела, а разум бодрствовал. Сон не шел к нему. В Ливерпуле он купил новую записную книжку в зеленом, мраморного рисунка, элегантном переплете; раскрыв ее на первой чистой странице, он переписал стихотворение Бена Джонсона, которое всегда его влекло к себе, а теперь вдруг заговорило по-новому, злободневно:

Вы видали лилей белизну,
 Не тронутых рукою?
 Вы видали снегов пелену,
 Не смешанных с землею?

Осызали мех соболиный,
Пух лебединый?
Обоняли шиповника цвет по весне
Или нард на огне?
Услаждала вас улья казна?
Столь бела, столь нежна, столь прелестна она!⁷

Те самые слова, которые ему хотелось написать в дневнике. «Столь бела! Столь нежна! Столь прелестна!» – хотелось ему воскликнуть.

Его ждала неизвестность. Ему вспомнилась строчка из детской сказки, слова арабского принца, которому шаловливые духи на мгновение показали во сне прекрасную принцессу Китая. «Я умру, если она не будет моей», – сказал принц своим родственникам и слугам. Вильям опустил перо на бумагу и написал:

«Я умру, если она не будет моей».

Какое-то время, с пером в руке, он раздумывал, затем, строчкой ниже, написал снова:

«Я умру, если она не будет моей». И добавил:

«Разумеется, я не умру. Это нелепо. Но знакомая фраза из старой сказки, кажется, лучше всего отражает тот обвал, тот водоворот, что случился сегодня вечером в моей душе. Полагаю, я существо рациональное. Я выстоял, сохранил рассудок и бодрость духа, несмотря на то что жил впроголодь, несмотря на долгое одиночество, желтую лихорадку, предательство, людскую злобу, кораблекрушение. В детстве, когда я читал сказки, сила любви, выразившаяся в словах: „Я умру, если она не будет моей“, внушала мне скорее ужас, нежели восхищение. Я не торопился любить. Я не искал любви. Составленный мною рациональный план, совпадающий сегодня с моим романтическим планом, предполагает, что, отдохнув, я возвращусь в джунгли; в этом плане не отведено места поискам жены, ибо я полагал, что в ней особенно не нуждаюсь. Верно и то, что, когда я был в бреду и, раньше, когда лечился от лихорадки в хижине той грязной ведьмы, которая причиняла мне страданий больше, чем оказывала помощи, я мечтал временами, чтобы рядом была ласковая подруга, которая была мне очень нужна, но которую я по глупости своей забыл, и тогда передо мной возникал бесплотный образ тоскующей девы, проливающей по мне слезы, да, я очень тосковал по ней.

К чему я стремлюсь? Я пишу, будучи почти в такой же горячке, как тогда. Сам факт, что я допускаю мысль о возможности нашего соединения, с традиционной точки зрения покажется оскорбительным, ибо, согласно ей, мы занимаем неравное положение в обществе; и, более того, у меня нет ни денег, ни перспектив. Но общепринятый взгляд не сможет меня поколебать; я не испытываю почтения к придуманным ложным авторитетам, чинам и социальным ступеням, которые сохраняют путем пустой и низкой суеты внутрисемейных браков; какой ни есть, я такой же порядочный человек, как Е. А., и могу поклясться, что я использовал свой разум и физические возможности для достижения по-настоящему достойной цели. Но убедят ли эти рассуждения людей, чья семья устроена так, чтобы давать отпор чужакам, подобным мне? Разумней всего забыть, подавить неуместные чувства, поставить точку».

На секунду он задумался и написал в третий раз:

«Я умру, если она не будет моей».

Он спал хорошо, и ему снилось, будто он идет по лесу за стайкой золотистых птиц; птицы усаживаются, охорашиваются, подпускают его к себе, а потом летят прочь, пронзительно крича, и вновь садятся подальше от него.

⁷ Перевод В. Рогова.

Рабочий кабинет Гаральда Алабастера примыкал к маленькой часовне Бридли-холла. Он был шестиугольной формы, с деревянными панелями на стенах и двумя вырезанными в камне глубокими окнами в позднем готическом стиле; потолок, тоже каменный, серовато-желтого цвета, состоял из меньших по размеру шестиугольников и походил на пчелиные соты. В центре его находилось необычное окно для дневного света, напоминавшее фонарь Илийского собора, а под ним – широкий, внушительный готический стол, отчего кабинет имел вид совещательной комнаты капитула. Вдоль стен стояли высокие книжные шкафы, полные книг в лоснящихся кожаных переплетах, и тумбы с вместительными выдвижными ящиками. Под стеклянным верхом одной из шестиугольных тумб блестящего красного дерева покоились, приколотые булавами, бабочки семейств геликонид, парусников, данаид, итомид, изловленные когда-то Вильямом. Над коробками были вывешены листы; по краю каждого вился очаровательный узор из фруктов, цветов, листьев, птиц и бабочек, который окаймлял тщательно выписанный готическими буквами текст. Гаральд Алабастер указал на листы Вильяму:

– Евгения любит разрисовывать их для меня. Они радуют глаз: красиво надписаны и старательно исполнены.

Вильям прочитал вслух:

«Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых:
Муравьи – народ не сильный, но летом заготавливают пищу свою;
Горные мыши – народ слабый, но ставят дома свои на скале;
У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно;
Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах».

Притчи 30: 24–28

– Посмотрите, с каким вкусом подобраны чешуекрылые. Это тоже работа Евгении. Боюсь, она не опиралась на строго научные принципы, но работа тонка и замысловата, словно окно-розетка с живым узором, и в самом деле показывает невероятную красочность и великолепие мира насекомых. Мне особенно по душе пришлось ее идея разместить среди бабочек маленьких радужно-зеленых скарабеев. Евгения говорит, что на эту мысль ее навели шелковые узелки в вышивке.

– Вчера вечером она описала мне свою работу. По всему видно, она очень умело обращается с коллекционным материалом. И результат отменный, просто восхитителен.

– Евгения – милая девочка.

– Она очень красивая.

– И надеюсь, ее ожидает настоящее счастье, – промолвил Гаральд Алабастер.

Вильяму, внимательно прислушивавшемуся к каждому его слову, показалось, что Алабастер до конца не уверен в том, что так и будет.

Гаральд Алабастер был высок, сухопар и сутуловат. Его лицо, худое, цвета слоновой кости, носило фамильное сходство с его детьми; слегка водянистые синие глаза, которые чуть слезились, рот прятался в пышной патриархальной бороде. И борода, и длинные густые волосы были почти седые, но кое-где уцелевший светло-русый цвет сообщал им неожиданно тусклый латунный оттенок. Алабастер носил свободную черную куртку с жестким стоячим воротничком и мешковатые брюки, а поверх – нечто вроде монашеской сутаны из черной шерсти с длинными рукавами и капюшоном – возможно, надевал ее из практических соображений, поскольку, даже растопив все каминные, чего почти никогда не делали, не удавалось обогреть очень холодные углы особняка. Вильям вел с ним многолетнюю переписку, но впервые встретился лицом к лицу. Он ожидал увидеть человека более молодого и крепко сложенного, бодрого и уверенного, как те коллекционеры, с которыми он свел знакомство в Лондоне и

Ливерпуле, люди дела и любители интеллектуальных развлечений. Свои спасенные сокровища он снес вниз и теперь, не распаковывая, положил на рабочий стол Алабастера.

Гаральд Алабастер дернул за шнурок звонка, висевшего над столом, и, бесшумно ступая, слуга внес кофейный поднос, разлил кофе по чашкам и удалился.

– К счастью, вам удалось спастись, и мы должны быть благодарны за это, однако гибель образцов – очень тяжелая потеря. Пусть мой вопрос не покажется нескромным, но что вы намереваетесь делать дальше, мистер Адамсон?

– У меня едва ли было время об этом подумать. Я надеялся выручить сумму, достаточную, чтобы некоторое время пожить в Англии, используя обширный материал своих дневников, написать о путешествиях, заработать денег на снаряжение и вернуться на Амазонку. Те из нас, кто побывал там, едва прикоснулись к таинственной завесе, за которой тянутся миллионы миль неизвестных джунглей, скрывающих миллионы неведомых существ. Я намереваюсь решить ряд проблем... особый интерес представляют для меня муравьи и термиты, я хотел бы посвятить себя долговременному изучению некоторых сторон их жизни. Я, например, полагаю, что смогу найти лучшее, чем у мистера Бейтса, объяснение удивительным повадкам муравьев-листорезов; мне бы также хотелось отыскать муравейник легионеров вида *Eciton burchelli*, чего до сих пор никому не удавалось. Мне даже приходила мысль, что они вечные переселенцы, разбивающие лагерь лишь на время, такое поведение не свойственно известным видам муравьев, но эцитоны, в поисках пищи разоряющие все вокруг, должны постоянно перемещаться, чтобы выжить. Есть еще одна интересная проблема, решение которой может подтвердить наблюдения мистера Дарвина: муравьи, в течение тысячелетий селившиеся в некоторых бромелиевых, очевидно, обусловили внутреннее строение этих растений – в процессе роста в них образуются пустоты и коридоры, которые служат гостям-муравьям приютом. Мне бы хотелось продемонстрировать эту зависимость, и я также... Впрочем, прошу меня извинить за то, что, нарушая приличия, говорю сбивчиво и без остановок. Когда я жил в лесу, ваши письма, сэр, были мне утешением, редкой роскошью. Они прибывали вместе с самым необходимым – провизией, которой постоянно не хватало: маслом, сахаром, пшеницей, мукой, – я ожидал их с нетерпением. Желая продлить наслаждение, я растягивал чтение, как растягивал запасы сахара и муки.

– Рад, что сумел кому-то доставить подлинное удовольствие, – ответил Гаральд Алабастер. – Надеюсь, теперь я смогу помочь вам в более практических материях. Сейчас мы разберемся с тем, что вы привезли, – за экземпляры, которые я оставлю себе, я вам щедро заплачу. Вот только я подумал... мне хотелось бы знать, не согласитесь ли вы погостить у нас какое-то время, необходимое для того, чтобы... Видите ли, если бы ваша коллекция уцелела, вам пришлось бы потратить много времени на сортировку и составление описи – труд, что и говорить, объемный... Стыдно признаться, но в пристройках у меня свалены горы ящиков, купленных без особого разбора у мистера Уоллеса, мистера Спруса, у путешественников, вернувшихся с Малакки, из Австралии и Африки, – я недооценил всю сложность приведения в порядок их содержимого. Есть что-то весьма несправедливое в том, что, лишая землю ее красоты и чудес, люди не ищут им применения, ведь только культ полезных знаний и способность любознательности могут оправдать наше хищничество. Я, как дракон из поэмы, владею сокровищем, но не умею им воспользоваться. Мне хотелось бы предложить вам привести все в порядок; если вы согласитесь на мое предложение, у вас появится возможность обдумать дальнейшие шаги...

– Весьма великодушно, – заметил Вильям, – тем самым у меня была бы крыша над головой и работа, на которую я способен.

– Но вы колеблетесь...

– Я всегда четко видел свою цель, имел ясное представление о том, что я должен делать и как должна протекать моя жизнь...

– И вы сомневаетесь, что Бридли-холл имеет отношение к вашему призванию?

Вильям был в нерешительности. Его мысли занимал образ Евгении Алабастер, белая грудь которой поднималась из моря кружев ее бального платья, как Афродита из пены прибоя. Но он не собирался говорить о своих чувствах; ему даже доставляло удовольствие их скрывать.

– Я должен изыскать средства для снаряжения следующей экспедиции.

– Возможно, – заговорил вкрадчиво Гаральд Алабастер, – в будущем я сумел бы вам помочь в этом. Не как простой покупатель, но более существенным образом. Я хотел бы тем не менее предложить вам остаться у нас подольше и по крайней мере осмотреть мои богатства; разумеется, ваша работа будет оплачена по договоренности, исходя из ваших профессиональных качеств. Я не стремлюсь полностью занять ваше внимание, об этом и речи не идет, так что у вас будет достаточно времени для обдумывания вашего будущего труда. А тем временем и все остальное уладится, будет найдено судно, и, смею надеяться, однажды какая-нибудь гигантская жаба или свирепого вида жук, обитатель нижнего яруса джунглей, увековечат мое имя, будучи названы, скажем, *Bufo amazoniensis haraldii* или *Cheops nigrissimum alabastri*. Мне эта мысль по душе, а вам?

– Не вижу повода и причины отказываться от подобного предложения, – отозвался Вильям, снимая с коробки обертку. – Я принес вам нечто... нечто чрезвычайно редкое, и, по стечению обстоятельств, у себя дома, в девственном лесу, этот образец уже носит имя одного из членов вашей семьи. Здесь у меня несколько самых необычных экземпляров геликонид и итомид, весьма интересных, а тут несколько роскошных парусников, одни – с красными точками на крыльях, другие – темно-зеленые. Я желал бы обсудить с вами кое-какие значимые различия в форме, которые вполне могут быть доказательством того, что эти создания пребывают в процессе внутривидовой дивергенции.

Взгляните! Вот эти, думаю, особенно вас заинтересуют. Я знаю, вы получили посланный мною экземпляр *Morpho Menelaus*; я отправился на поиски его сородича, бабочки *Morpho Rhetenor*, более яркой, с сильнее выраженным металлическим отливом и размахом крыльев более семи дюймов. Одной мне удалось завладеть, однако, как видите, она малопригодна для коллекции – крылья чуть надорваны и не хватает лапки. Эти бабочки летают над широкими, залитыми солнцем лесными дорогами; летают неторопливо, словно птицы, изредка взмахивая крыльями, и очень редко опускаются ниже двадцати футов, так что их почти невозможно поймать. Они невероятно красивы, когда в зеленоватом свете проплывают у вас над головой. Но я нанял нескольких проворных мальчишек-индейцев, они забрались на деревья и сумели отловить для меня пару бабочек вида, родственного ретенор, не менее редких и по-своему не менее прелестных; и хотя они не голубой окраски, посмотрите: самец – лоснящийся, атласно-белый, самка – бледно-лиловая и неброская, но утонченно красивая. Когда мне принесли бабочек, да еще в таком отличном состоянии, я почувствовал, как кровь ударила мне в голову, мне показалось, что от волнения я упаду в обморок. Тогда я и не подозревал, как к месту они придутся в вашей коллекции. Эти бабочки – близкие родственники: *Morpho Adonis* и *Morpho Uraneis Batesii*. Их видовое название – *Morpho Eugenia*, сэр Гаральд.

Гаральд Алабастер смотрел на блестящих мертвых бабочек.

– *Morpho Eugenia*. Замечательно. Какое дивное создание! Как она прекрасна, какая филигранная форма. Удивительно. Будучи столь хрупким созданием, она достигла меня с другого конца земли, пройдя через такие опасности. А какая редкая! Ни разу в жизни не видел такой бабочки. Даже не слышал, чтобы кому-то еще довелось ее видеть. *Morpho Eugenia*, замечательно.

Он снова потянул за шнурок звонка, отчего в комнате послышался слабый скрип.

– Трудно не согласиться с герцогом Аржильским в том, – продолжал он, – что несказанная красота этих созданий сама по себе есть свидетельство работы Творца, который также одарил человека восприимчивостью к красоте и чувствительностью к едва заметным различиям и оттенкам цвета.

– Мы и в самом деле очень чутко воспринимаем их, – осторожно сказал Вильям, – интуиция подсказывает мне, что вы правы. Но с точки зрения науки я нахожу необходимым возразить: на выполнение какой цели в природе направлены эти яркость и красота? Мистер Дарвин, насколько мне известно, склонен думать, что интенсивная алая или золотая окраска именно самцов бабочек и птиц (тогда как самки часто невзрачны и неприметны), которую они как бы выставляют напоказ, есть преимущество, благодаря которому самец может быть избран самкой в качестве брачного партнера. Мистер Уоллес доказывает, что неброская окраска выполняет защитные функции, помогает самке быть невидимой, когда она прячется под листком, чтобы отложить яйца, или когда сидит в гнезде, сливаясь с окружающей тенью. Я сам замечал, что ярко окрашенные бабочки-самцы кружатся огромными стаями в солнечных лучах, тогда как самки робко прячутся под кустом или в прохладном сыром месте.

Раздался стук в дверь, и в кабинет вошел лакей.

– А, Робин, отыщите, если сможете, мисс Евгению и младших девочек – мы хотим кое-что им показать. Велите ей поторопиться.

– Да, сэр.

И дверь снова закрылась.

– Есть еще один вопрос, – продолжал Вильям, – который я часто себе задаю. Почему самые яркие бабочки сидят без опаски на листьях с расправленными крыльями; почему они летают неторопливо, лишь изредка взмахивая крыльями? Взять, к примеру, парусников, известных также под именем фармакофагов, иначе «пожирателей яда», потому что они питаются ядовитыми лозами аристолохии; они будто понимают, что могут фланировать безбоязненно, что хищник их не сцапает. Возможно, что дерзкая демонстрация яркого и разноцветного окраса – своего рода бесстрашное предупреждение. Бейтс предполагает даже, что некоторые безобидные виды подражают в окраске ядовитым парусникам, чтобы сделаться столь же неуязвимыми. Он открыл нескольких белых и зеленовато-желтых пиерид, которых не отличил бы от итомид не только брошенный мимоходом взгляд, но и внимательный наблюдатель, не вооруженный, правда, микроскопом...

В комнату вошла Евгения. Она была очаровательна в платье из белого муслина, украшенном вишнево-красными лентами и бантом и перехваченном пояском того же цвета. Когда она приблизилась к отцовскому столу, чтобы посмотреть на бабочек, Вильям растерялся, и ему почудилось, что ее окутывает облако волшебных пылинок, которое притягивает и в то же время отталкивает его, не пуская за незримый барьер. Он вежливо ей поклонился и тут же вспомнил о безрассудных отчаянных словах, которые записал в дневнике: «Я умру, если она не будет моей»; представил себе корабль, взлетающий на волнах бурлящей зеленой воды, скалывающихся с носа судна, водяную пыль, клубящуюся в воздухе. Опасность его не пугала, но он обладал трезвым рассудком, и мысль о том, что бесплодный жар может иссушить его, не принесла радости.

– Какое чудное создание, – проговорила Евгения. Ее мягко очерченные губы были открыты. Вильям видел влажные, ровные, молочно-белые зубы.

– Это *Morpho Eugenia*, дорогая. Названа не в твою честь, но отдана мистером Адамсоном в твое распоряжение.

– Какая прелесть. Она изумительна – такая белая, такая блестящая...

– Нет-нет, это самец. Самка – та, что поменьше, светло-лиловая.

– Какая жалость. Меня привлекает как раз его атласно-белый окрас. Это, впрочем, естественно, ведь я женщина. Мне хотелось бы представить их в полете. Но, как ни пытайся сохранить их естественный вид, они все равно выглядят застывшими, как палые листья. Я бы хотела держать дома бабочек, как мы держим птиц.

– Их вполне можно держать в оранжерее, если должным образом ухаживать за личинками, – ответил Вильям.

– Как было бы приятно сидеть в оранжерее в окружении целого облака бабочек. Как романтично!

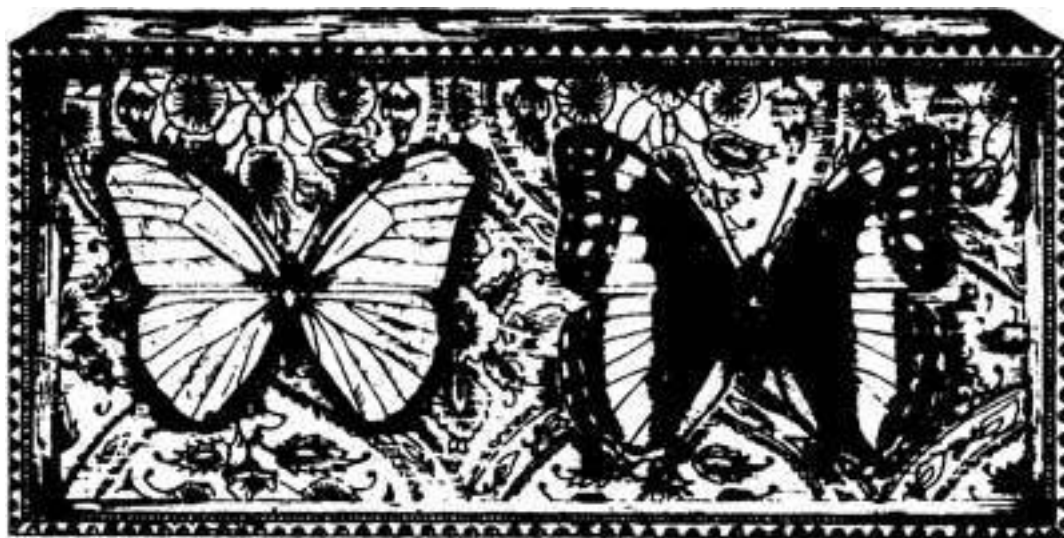
– Я без труда мог бы устроить для вас облако из бабочек. Разумеется, не из *Morpho Eugenia*, но из местных: синих и белых, золотистых и алых. В этом облаке вы сами были бы *Morpho Eugenia*, что означает «прекрасная», «изысканной формы».

– В противоположность аморфности, – заметила Евгения.

– Совершенно верно. Первобытные амазонские джунгли – бесконечное однообразие зелени, облака мошек и москитов, плотная стена ползучих растений и подлеска – часто представлялись мне воплощением бесформенности. Но вот появлялось нечто совершенное, великолепно оформленное, от чего захватывало дух. И это была *Morpho Eugenia*, мисс Алабастер.

Она обратила на него свой влажный взор, пытаясь решить, не заключен ли здесь комплимент; казалось, она обладала особым чутьем на комплименты. Он встретился с ней взглядом, коротко и печально улыбнулся, и она ответила ему короткой и печальной улыбкой и быстро прикрыла ресницами синие озера глаз.

– Я сделаю для них специальный стеклянный ящичек, вот увидите, мистер Адамсон. Они будут танцевать вдвоем вечно, одетые в белый атлас и лиловый шелк. Вы должны подсказать мне, какие цветы и листья нарисовать для фона, – мне бы хотелось, чтобы они выглядели как настоящие.



– К вашим услугам, мисс Алабастер.

– Мистер Адамсон дал согласие погостить у нас некоторое время, дорогая, и помочь мне привести в порядок коллекцию.

– Хорошо. В этом случае я смогу воспользоваться его предложением.

Разобраться в повседневной жизни Бридли-холла было нелегко. Вильям чувствовал себя одновременно беспристрастным антропологом и сказочным принцем, которого удерживали в заколдованном замке незримые врата и шелковые узы. Каждый здесь занимал определенное место и вел определенный образ жизни, так что ежедневно на протяжении месяцев он открывал для себя новых людей, о существовании которых не подозревал, занимавшихся делами, ранее ему неизвестными.

Бридли строили как средневековую усадьбу, но на деньги нового времени. Продолжалось это долго; в 1860 году с начала строительства минуло тридцать лет. Алабастеры принадлежали к древнему благородному роду, испокон веку сохранявшему чистоту крови; они никогда

не обладали большой властью, но возделывали поля, собирали книги, лошадей, разные диковинки и разводили домашнюю птицу. Гаральд Алабастер был вторым сыном Роберта Алабастера, который и построил Бридли-холл на деньги, полученные с приданым жены, дочери ост-индского купца. Дом перешел по завещанию старшему брату Гаральда, тоже Роберту, который, в свою очередь, женился на состоятельной девице, дочери графа средней руки; та родила ему двенадцать детей, но все они умерли в младенчестве. Гаральд, как и полагалось младшему брату, принял духовный сан и обосновался в Фенах, где в свободное время занимался ботаникой и энтомологией. Он был тогда беден – состояние Роберта-старшего осело в Бридли, унаследованном Робертом-младшим. Гаральд был женат дважды. Первая жена, Джоанна, родила ему двух сыновей, Эдгара и Лайонела, и умерла в родах. Гертруда, нынешняя леди Алабастер, вышла за него замуж, как только он овдовел. Гертруда Алабастер также принесла богатое приданое – она была внучкой владельца шахт, склонного к благотворительности и умевшего в то же время удачно вложить капитал. Она рожала детей, одного за другим, с завидной покорностью. Сначала Вильям думал, что у нее только те пятеро, с которыми его познакомили, но вскоре обнаружил по меньшей мере еще пятерых: троих – Маргарет, Элен и Эдит, в классной комнате, близнецов Гая и Алису – в детской. Среди домочадцев было несколько разновозрастных девиц-приживалок, родственниц самих Алабастеров и их жен. За столом неизменно присутствовала некая мисс Фескью, которая громко чавкала и хранила упорное молчание; еще в доме жила сухопарая мисс Кромптон, которую обычно называли Мэтти. Она не была ни гувернанткой – эти обязанности исполняла мисс Мид, – ни няней, как Дакрес, хотя младшие члены семейства находились под ее опекой. Бывали в гостях молодые люди, друзья Эдгара и Лайонела. А в темном мире за дверью людской обитала прислуга: от дворецкого и эконома до посудомоек и мальчишек на побегушках.

День начинался с утренней молитвы в домовом церкви. Служба отправлялась после завтрака, к ней ходили те члены семьи, которые уже успели встать, и неслышные слуги, всякий день в разном составе: служанки в черных платьях и безупречно белых передниках и слуги в черных сюртуках; они рассаживались – мужчины справа, женщины слева – на задних скамьях. Алабастеры занимали передние ряды. Ровена ходила к службе часто, Евгения редко, дети в сопровождении Мэтти и мисс Мид – каждый день. Леди Алабастер появлялась исключительно по воскресеньям и обыкновенно дремала в переднем углу, пурпурная от лучей солнца, бьющих из витражного окна. Церковь была очень простой, внутри было не жарко. Сидели на жестких дубовых скамьях, и единственным, что привлекало взгляд, были высокие витражи с синими виноградными гроздьями и кремовыми лилиями да сам Гаральд. В первые дни пребывания Вильяма в доме Гаральд читал краткие проповеди. Они вызвали у Вильяма живой интерес. В них не было ни привычных ему с детства угроз, ни религиозного экстаза, ни багровых бездн, где горел вечный огонь, ни алых потоков жертвенной крови. Проповеди были добрыми; в них говорилось о любви – о любви к ближнему, что было особенно актуально, о любви к Богу Отцу, который неусыпно печется о благоденствии всякой птахи и простер свою бесконечность на Отца и Сына, дабы сделать свою любовь понятнее для человеков, которые начинают постигать природу любви на примере естественных уз, связывающих членов семьи, материнского тепла и отцовского покровительства, братской и сестринской близости; этой любви назначено выйти из лона семьи и, в стремлении уподобиться любви Божественного Родителя, объять все творение: сначала домочадцев, затем свой народ и далее все человечество, вообще все живое, столь дивно сотворенное.

Гаральд читал проповедь, а Вильям всматривался в его лицо. Если приходила Евгения, он иногда осмеливался наблюдать и за ней; но ее глаза были всегда скромно потуплены, к тому же она обладала великим умением сидеть не шелохнувшись, сложив руки на коленях. Гаральд же всякий раз был иным. Временами, когда его голова была вскинута, а на белые пряди бороды падал свет, он – пронзительным взором, белоснежной сединой волос, древностью –

напоминал Бога Отца. Иной раз, когда он вел речь спокойно и едва слышно, устремив взгляд на шахматные клетки пола, он казался почти жалким; неопрытна была и его старая поношенная мантия. Случалось, что на миг он представлялся Вильяму португальским монахом-миссионером, – с ними ему приходилось встречаться на Амазонке, то были исхудавшие до крайности люди с горячечным взглядом, которые тщились разгадать причину непонимания со стороны умиротворенно-равнодушных индейцев. А это сходство, в свою очередь, навело Вильяма, сидевшего на жесткой скамье в английской церкви, на воспоминания об ином ритуале, когда мужчины-индейцы собирались и пили каапи, или айауаску⁸, вино мертвеца. Однажды, попробовав вина, он увидел, словно с высоты птичьего полета, ландшафты, города-громады, высокие башни; он блуждал по лесу, со всех сторон кишели змеи, и жизнь его была в опасности. Женщинам под страхом смерти запрещалось не только пробовать вино, но и смотреть на ботуто – барабаны, созывавшие на церемонию возлияния. Сейчас, сидя на мужской половине церкви среди членов благочинного английского семейства, он вспоминал, как разбегались в панике женщины, закрывая глаза руками, и одновременно наблюдал, как Евгения розовым языком облизывает пухлые губы. Вильям почувствовал, что обречен на раздвоенность сознания. Что бы с ним ни происходило, все порождало образ-двойник оттуда, отчего не только амазонские обряды, но и английская проповедь казалась странной, ненастоящей, непонятной. Под покровом ночи он сумел вывезти один ботуто в каноэ, спрятав его под одеялами, но, как и все его имущество, барабан скрылся под толщей серой воды. Возможно, он и стал причиной его злоключений.

– Мы должны без устали благодарить Господа за Его многие к нам милости, – сказал Гаральд Алабастер.

Вильяму оборудовали рабочее место в заброшенной седельной по соседству с конюшней. Часть комнаты была заставлена жестяными коробками, деревянными ящиками, ящиками изпод чая, набитыми образцами со всего света, скупленными Гаральдом без особого, судя по всему, разбора и предпочтения. Там были обезьяньи шкурки, тонкие шкурки попугаев, заспиртованные ящерицы и чудовищные змеи, горы коробок с мертвыми жуками, ярко-зелеными и переливчато-пурпурными и похожими на закопченных чертей с уродливыми рогатыми головами. Здесь же стояли ящики с образцами минералов, были свалены пучки мхов, связки плодов и цветов, привезенные из тропиков и с ледяных шапок Севера, медвежьи зубы и носорожьи рога, акульи костяки и куски кораллов. Содержимое нескольких ящиков источили в мелкую пыль термиты, некоторые образцы превратила в вязкое месиво плесень. Когда Вильям спросил своего благодетеля, на каких принципах он должен строить работу, Гаральд ответил:

– Вы ведь знаете, как навести порядок. Разберите экземпляры по какому-то одному принципу, чтобы эти образцы приобрели хоть какой-то смысл.

Вильям догадался, что Гаральд не взялся за эту работу сам отчасти потому, что не имел ни малейшего представления о том, с чего начать. Временами он приходил в бешенство оттого, что сокровища, ради которых люди, подобные ему, рисковали жизнью и здоровьем, свалены в полном беспорядке на конюшне. Он раздобыл складной стол, гроссбухи, коллекционные шкафы и шкафы с выдвигаемыми ящиками для крупных образцов. Он установил микроскоп и начал готовить ярлыки. Ежедневно ему приходилось перекладывать образцы из ящика в ящик: то сталкивался с целым войском жуков, то обнаруживал сонм лягушек. Он так и не придумал, по какому принципу сортировать материал, но продолжал усердно готовить ярлыки, раскладывать и изучать.

⁸ *Айауаска* (также каапи) – южноамериканский напиток, приготовляемый на алкогольной основе из истолченной в муку тропической лианы, которая содержит сильный галлюциноген, идентичный ЛСД. Используется амазонскими знахарями как лекарственное средство, а также для отправления местных культов, поскольку, кроме характерного ощущения полета, вызывает, по убеждениям аборигенов, способность ясновидения.

В седельной было холодно и темно, как в могиле, кроме того места, где свет проникал через окно, расположенное так высоко, что в него нельзя было заглянуть. Когда конюхи чистили стойла, Вильям слышал каждый звук и чувствовал каждый запах: и парной запах навоза, и аммиачный дух конской мочи, и топот кожаных башмаков, и шелест вздетого на вилы сена. Эдгар и Лайонел были любителями верховой езды. Эдгар держал гнедого арабского жеребца с изогнутой, мускулистой атласной шеей. Жеребца звали Саладин; в полутьме стойла он сверкал глазами и переступал с ноги на ногу, скаля зубы. Айвенго, так звали охотничью лошадь Эдгара, огромный серо-стальной жеребец, был хорошо откормлен и отменно брал барьеры. Не было случая, чтобы Эдгар отказался на пари взять с Айвенго самое невообразимое препятствие, и конь всегда оказывался на высоте. Они походили друг на друга – оба мускулистые и высокие; оба распираемые едва сдерживаемой силой, они лишены были той плавности движений, которой отличались томившийся в стойле Саладин, кобылицы и жеребята в загоне, Ровена и Евгения. Вильям слышал, как Эдгар и Лайонел уезжали на верховые прогулки и возвращались, слышал быстрый перестук железных подков на камне и скрежет, когда кони кружились и танцевали. Иногда к молодым людям присоединялись барышни. Евгения в синем, под цвет глаз, костюме наездницы садилась на красивую послушную вороную кобылу. Вильям спешил управиться с работой и выходил из своей пещеры посмотреть, как она садится в седло, поставив ножку на ладони грума и взявшись руками в перчатках за поводья; ее волосы обычно стягивала синяя сетка. В такие моменты Эдгар, сидя верхом на Айвенго, поглядывал на Вильяма. Вильям чувствовал, что тот его недолюбливает. Эдгар относился к нему так, как он относился к людям, занимающим промежуточное положение между его родными и неприметными, немymi слугами. Он замечал его, конечно, при встрече слегка кивал, но общения избегал.

Леди Алабастер проводила дни в маленькой гостиной с видом на лужайку перед домом. Комната была типично дамской, с гранатово-красной стеной обивкой, по которой были разбросаны розово-кремовые веточки жимолости. Красные плотные бархатные шторы нередко почти закрывали солнечный свет: у леди Алабастер болели глаза, и она часто страдала мигренями. В камине всегда горел огонь; Вильям приехал ранней весной и на первых порах счел это естественным, но с приближением лета буквально обливался потом в своем сюртуке. Леди Алабастер, казалось, была не способна двигаться, более по причине врожденной вялости, нежели из-за какого-либо недуга; она не шла, а вперевалку передвигалась по коридорам дома, когда наступало время завтрака или обеда; у Вильяма создалось впечатление, что ее колени и щиколотки, скрытые под множеством юбок, непомерно отекали и причиняют ей боль. Она возлежала обычно на широкой софе под окном, повернувшись к нему спиной и обратившись к огню камина. В комнате была уйма подушек, расшитых крестиком по шерсти, цветками, фруктами, голубыми бабочками и алыми птицами – шелковой ниткой по атласу. Рядом с леди Алабастер всегда лежали пальцы, но Вильяму ни разу не довелось застать ее за вышиванием, хотя, возможно, при нем она из вежливости откладывала работу. Она показывала ему вышивки Евгении, Ровены и Эниды, мисс Фескью, Мэтти Кромптон и девочек, своим слабым голосом призывая его выразить восхищение. В комнате стояли стеклянные сосуды с высушенными маковыми головками, ворсянкой, гортензией и несколько скамеечек для ног, о которые в полумраке комнаты спотыкались гости и слуги. Казалось, добрую часть дня она только и делала, что пила чай, лимонад, миндальную наливку, шоколадное молоко, ячменный отвар или травяные настои, которые нескончаемым потоком несли для нее по коридорам на серебряных подносах горничные. Она также поглощала в большом количестве пирожные, миндальное печенье, пирожки, желе и сладкие булочки, их доставляли из кухни с пылу с жару; после еды крошки собирали и выметали вон. Она была непомерно толста и, кроме как ради особых случаев, не надевала корсета, а лежала в просторном блестящем халате, закутанная в кашемировые шали, в кружевном чепчике, завязанном под множеством подбородков. Как у многих полнотелых женщин, ее кожа

была розовой, а лицо мягким и нежным, словно луна, и на удивление гладким; правда, маленькие выпуклые глаза заплыли толстыми складками кожи. Иногда ее горничная Мириам садилась рядом и добрых полчаса расчесывала все еще блестящие волосы своей хозяйки, удерживая их в ловких руках и без конца размеренно водя по ним гребнем слоновой кости. Леди Алабастер говорила, что расчесывание утишает ее мигрень. Когда же головная боль делалась нестерпимой, Мириам ставила госпоже холодные компрессы и смачивала ей веки настоем лещины.

Вильям чувствовал, что эта незлобивая вялая женщина была организующей силой семейства. То и дело являлся к ней экономайстер за распоряжениями; приводила девочек читать наизусть стихи и отвечать уроки мисс Мид. Приносил бумаги дворецкий; приходил и уходил повар; садовник, обтерев подошвы, вносил в горшках цветочные луковицы и букетики и сообщал, что и где намерен посадить. Этим людям часто встречала и провожала до дверей Мэтти Кромптон. Как-то раз она зашла в мастерскую к Вильяму, чтобы передать ему просьбу хозяйки дома.

Высокая и стройная, в модном черном платье с аккуратными белыми манжетами и белым воротничком, она остановилась в тени дверного проема. Ее лицо было худощаво и неулыбчиво, кожа в тон темным, заправленным под простую чепец волосам – смуглая. Тихим, отчетливым и ровным голосом она сообщила Вильяму, что леди Алабастер будет рада, если по окончании работы он выпьет с ней чашку чаю. По всему видно, он предпринял настоящий подвиг во имя любви. Что это у него в руке? Выглядит пугающе.

– Полагаю, фрагмент одного из образцов, частью которого он был. Кое-какие части некоторых экземпляров рассыпались при перевозке. И для самых загадочных я завел отдельную коробку. Эти предплечье и кисть, очевидно, принадлежали довольно крупному примату. Они очень напоминают детскую руку, не так ли? Но я вас уверяю, что это не так. Кости слишком легкие. Наверное, я напоминаю вам колдуна.

– Что вы, – возразила Мэтти Кромптон, – такое сравнение даже не приходило мне в голову.

Леди Алабастер угостила Вильяма чаем, бисквитом и теплыми пшеничными лепешками с вареньем и сливками и выразила надежду, что он не испытывает неудобств и Гаральд не перегружает его работой. «Нисколько, – подтвердил Вильям, – у меня много свободного времени». Он собрался было добавить, что, согласно уговору, у него должно оставаться время для написания книги, но тут в разговор вступила Мэтти Кромптон:

– Леди Алабастер надеется, что вы сможете немного заняться образованием младших детей и тем самым помочь мне и мисс Мид. Она полагает, что дети должны воспользоваться тем, что у нас живет выдающийся натуралист.

– Разумеется, я буду рад сделать все, что в моих силах...

– У Мэтти всегда такие удачные идеи, мистер Адамсон. Она очень изобретательна. Ну, Мэтти, рассказывайте.

– На самом деле все очень просто. Мы уже устраиваем маленькие походы за коллекционным материалом, мистер Адамсон: рыбачим в прудах и речках, собираем цветы и ягоды, но все это происходит очень сумбурно. Если бы вы согласились иногда ходить с нами, руководили бы нашими вылазками, показали, что заслуживает внимания и что искать. И еще у нас проблемы с классной комнатой. Я давно мечтаю установить в ней улей со стеклянными стенками, наподобие того, какой был у Губера, а также устроить колонию муравьев, чтобы малышки могли наблюдать за жизнью сообществ насекомых. Могли бы вы это сделать? Согласны? Вы ведь знаете, с чего нам начать. Вы бы подсказали, что нам следует искать.

Вильям ответил, что с удовольствием им поможет, но про себя подумал, что не умеет говорить с детьми и, более того, не питает к ним особой любви. Его раздражал визг детей, с которым они носились по лужайке и по выгону.

– Чрезвычайно вам благодарны, – проговорила леди Алабастер, – мы поистине извлечем выгоду из вашего пребывания у нас.

– Евгения тоже любит с нами ходить, – заметила Мэтти Кромптон. – Малыши отправляются рыбачить или собирать цветы для гербария, а она берет с собой альбом для эскизов.

– Евгения молодец, – заметила рассеянно леди Алабастер, – да и вообще мои девочки не доставляют мне никаких хлопот. Господь наградил меня хорошими дочерьми.

И Вильям стал участником вылазок на природу. Он понимал, что его к этому принудили усилиями мисс Мид и Мэтти Кромптон, напомнив о его зависимом положении, но тем не менее он получал удовольствие от прогулок. Все три старшие дочери иногда присоединялись к ним, иногда нет. Иногда он не знал, пойдет ли с ними Евгения, до самого выхода, когда все уже собирались на посыпанной гравием дорожке перед домом, вооруженные сачками, банками из-под варенья на веревочных ручках, жестяными коробками и ножницами. Бывали дни, когда он с самого утра не мог работать, потому что начинал гадать, увидит он ее сегодня или нет, и у него что-то сжималось в груди: воображение рисовало ему, как она будет выглядеть, когда пойдет по лужайке к воротам, через выгон и сад под цветущими фруктовыми деревьями в поле, которое спускалось к речушке, где они ловили гольянов и колюшку, охотились за улитками и личинками веснянки и ручейников. Младшие девочки нравились ему: эти послушные бледные малышки, в платицах, застегнутых на все пуговицы, помалкивали, пока к ним не обращались. Элен умела отыскивать сокровища на изнанке листьев и любопытные норки в наносах ила на берегу. Когда Евгении не было с ними, он становился самим собой, изучал все вокруг с пристальным вниманием, словно одновременно был и чутким первобытным охотником, и современным натуралистом. Он ощущал себя то животным, пугающимся грозных звуков и шорохов, а то ученым-исследователем. Знакомое покалывание кожи было вызвано не страхом, но тем невидимым облаком электрических разрядов, которое окружало Евгению, когда она спокойно шла по лугу. Возможно, это был и страх. Ему этого вовсе не хотелось. Но он как будто и не существовал, пока это ощущение не возникало вновь.

Однажды все, включая Евгению и Эниду, ловили в речке рыбу, и его вовлекли в разговор о природе. Прошел сильный весенний дождь, клочки травы и веточки плыли по обычно спокойной реке, под полощущими в воде ветви плакучими ивами и белыми тополями. Две белые утки и лысуха деловито сновали взад-вперед в поисках пищи; солнце стояло над водой, чашечки калужницы отливали золотом, в воздухе танцевали ранние мошки. Терпеливая охотница Мэтти Кромптон поймала две колюшки и теперь водила сачком у берега, всматриваясь в тени в глубине. Евгения стояла рядом с Вильямом. Она вдохнула полной грудью и выдохнула.

– Какая красота! – сказала она. – Как я счастлива, что мне выпало жить именно здесь. Видеть, как знакомые цветы появляются в лугах каждую весну, видеть вечное течение знаковой реки. Наверное, вам такая жизнь кажется очень ограниченной, с вашим-то опытом, ведь вы столько повидали. Но мои корни уходят так глубоко...

– Когда я жил на Амазонке, – отвечал Вильям просто и искренне, – мне все время виделся английский луг по весне, точно такой, как сегодня: цветы, свежая трава, раннее цветение, ветерок, который подхватывает все на своем пути, земля, освеженная дождем. Мне думалось, это и есть истинный рай; ничто на земле не сравнится красотой с цветущим берегом нашей реки, с живой изгородью из роз и шиповника, жимолости и брионии. До отъезда я прочел красочные описания великолепия тропических джунглей, цветов, фруктов и ярких животных, но то величие не сравнится с нашим. Там – утомляющее зеленое однообразие и такая масса буйной, рвущейся вверх, удушающей растительности, что часто неба не видно. Правда, климат там как в золотом веке: в тропической жаре все цветет и созревает безостановочно и одновременно; в одно и то же время там и весна, и лето, и осень и совсем нет зимы. Но в растительности таится что-то враждебное. Есть там дерево *sipo matador*, в переводе «убийца сипо», которое вырастает высоким и тонким, как вьюн, оно обвивается вокруг другого дерева, поднимается по нему до самой кроны на тридцать-сорок футов, выедавая его древесину, пока то не погибнет и, падая, не

увлечет сипо за собой. В тишине внезапно, словно пушечный выстрел, раздается треск рушащихся деревьев – жуткий звук, нагоняющий ужас; долго я не мог понять, что это. Там все необычно, мисс Алабастер. Есть разновидность фиалки – посмотрите на здешние фиалки, – которая, вырастая, превращается в исполинское дерево. И все же во многом этот мир невинен и непорочен, этот лес девствен, а народы, живущие в глубине материка, – дики, они так же не ведают о пороках – дьяволах – современного мира, как наши прародители. И тем не менее в чем-то два эти мира удивительно похожи. Индейским женщинам запрещено прикасаться к змее. И вот они прибегают к вам и просят убить змею. По просьбе испуганных женщин мне пришлось истребить множество змей. И ради этого покрывать значительные расстояния. Даже там увидели связь между женщиной и змием, словно связь эта и вправду часть общей для всех народов системы символов... даже там, где и не слыхивали о Книге Бытия... я все говорю и говорю, боюсь, я вас утомил.

– О нет. Я просто очарована. Мне приятно было услышать, что наш в каком-то смысле мир весны остался вашим идеалом. Мне хочется, чтобы вы были здесь счастливы, мистер Адамсон. А то, что вы говорили о женщинах и змеях, очень меня заинтересовало. Неужели вы были совсем отрезаны от общества цивилизованных людей, мистер Адамсон? Один среди нагих дикарей?

– Не совсем так. У меня было много друзей всех рас и оттенков кожи в разных сообществах. Но иногда я действительно бывал единственным белым в деревне какого-нибудь племени.

– И вам не было страшно?

– Отчего же, довольно часто. Мне дважды случайно доводилось услышать, что меня собираются убить; заговорщики не подозревали, что я знаю их язык. Но мне выпало счастье видеть проявления доброты и дружбы со стороны людей, которые были совсем не так просты, как могут показаться на первый взгляд.

– Они и в самом деле голые и разрисованные?

– Некоторые. Другие одеты наполовину. Или полностью. Они очень любят раскрашивать себя растительными красками.

Прозрачные синие глаза Евгении были устремлены на него, лоб чуть нахмурен; Вильям чувствовал, что она размышляет о его отношениях с теми нагими людьми. А потом ощутил, что его мысли пачкают ее, что он слишком заляпан грязью и нечист и не имеет права даже думать о ней, тем более посягать на сокровенность ее мыслей, обнажая свою тайную суть. Он проговорил:

– А эти пучки травы на воде напоминают мне огромные острова из вырванных с корнем деревьев, лиан и кустов, проплывающих по великой реке. Мне случалось проводить параллели с «Потерянным раем». В минуты отдыха я читал Мильтона. Тогда мне в голову приходил тот отрывок, где рай после потопа уносит водой.

Мэтти Кромптон, не отрывая глаз от реки, процитировала:

И Райская гора напором волн
Бодливых будет сдвинута и вниз
С деревьями, кустами и травой
Теченьем ярим смыта, снесена
В залив открытый; там укоренясь,
Она покрытый солью островок
Бесплодный образует, где жильё
Крикливых чаек стаи обретут,

Тюлени и чудовища глубин⁹.

– Умница, Мэтти, – сказала Евгения.

Мэтти Кромптон промолчала и вдруг резко погрузила сачок в воду, повела им и извлекла яростно бьющуюся колюшку с розовой грудью и оливковой спиной, очень большую, по крайней мере для колюшки. Она пустила рыбку из сачка в банку с другими пленниками, и девочки столпились вокруг посмотреть. Колюшка судорожно глотнула воздух и замерла на поверхности. Затем, видно, к рыбе вернулась утраченная сила. Она порозовела, ее грудь стала удивительного, очень густого розового цвета, проступавшего из-под оливкового, в который было окрашено ее туловище. Рыбка расправила спинной плавник, превратившийся в подобие колючего драконьего хребта, и обратилась в стремительно, почти неуловимо для глаза движущуюся торпеду, атакующую соседок по банке, которым в их круглостенной тюрьме негде было укрыться. Вода в банке вскипела. Евгения принялась смеяться, Элен – плакать. Вильям пришел на выручку и стал переливать рыбок вместе с водой из банки в банку до тех пор, пока вояка в розовой жилетке, которому пришлось открывать рот на траве, не оказался в отдельной банке. Другие рыбы разевали свои трепещущие рты. Элен присела на корточки и склонилась над ними. Вильям заметил:

– Обратите внимание, именно этот агрессивный самец носит розовый жилет. В банке еще два, но в отличие от этого, возбужденного или озлобленного, они не розовые. Мистер Уоллес утверждает, что самки невзрачны потому, что в отличие от папаши, который не только «строит», но и охраняет «дом», где нерестилась самка, им не приходится нести караул у кладки, пока не вылупятся и не уплывут мальки. И все же еще долго после того, как у него исчезнет нужда привлекать самку в свой красивый домик, он, возможно как предостережение, сохраняет свою ярко-красную окраску.

Мэтти сказала:

– Мы, наверное, осиротили его икринки.

– Отпустите его, – попросила Элен.

– Нет-нет, давайте отнесем его домой и немного подержим в банке, а когда изучим, отпустим, – сказала мисс Мид. – Он построит другое гнездо. Каждую минуту съедаются тысячи икринок, Элен, так уж устроена природа.

– Но ведь мы не природа, – возразила Элен.

– Что тогда мы? – спросила мисс Кромптон.

«Она еще не укрепилась в вопросах веры», – решил про себя Вильям. Очевидно, что природа улыбочива, но безжалостна. Он протянул Евгении руки, чтобы помочь ей взобраться на берег, и она ухватилась за них своими, в хлопчатых перчатках, нагретых ее теплом и пропитанных тем неведомым, что выдыхала ее кожа.

Трудно было понять, чем весь день занимается Гаральд Алабастер. Он не отлучался из дому, как его сыновья, хотя иногда прогуливался в одиночестве между цветочными клумбами, сцепив руки за спиной и опустив голову. Ему, казалось, и дела не было до того, что он столь усердно, хотя и без особого разбора, собрал. Коллекцию он всецело передоверил Вильяму. Когда тот заходил доложить о проделанной работе в шестиугольный кабинет, хозяин угощал его стаканом портвейна или хереса и внимательно выслушивал. Иногда они беседовали – либо Вильям говорил один – о книге про общественных насекомых, которую он намеревался написать. Однажды Гаральд сказал:

– Не помню, говорил ли я вам, что пишу книгу.

– Нет, не говорили. А очень хотелось бы узнать, о чем она.

⁹ Перевод А. Штейнберга.

– Эта книга из разряда неосуществимых; сегодня каждый пытается написать такую. Книга, которая должна путем серьезных, веских доводов показать, что есть основания считать мир созданием Творца, Зодчего.

Он остановился и взглянул на Вильяма пристально и выжидающе из-под белых бровей. Вильям мысленно взвешивал эти «основания».

Гаральд продолжал:

– Я понимаю не хуже вас, что все убедительные доказательства в руках моих оппонентов. Будь я сейчас молод, так же молод, как вы, красота и искусность доводов мистера Дарвина, да и не только его, склонили бы меня на сторону атеистического материализма. Было время, когда Пейли не зазорно было доказывать, что человек, нашедший на вересковой поляне часы или даже пару шестеренок часового механизма, естественно задумается о создателе этого инструмента¹⁰. Тогда ничем, кроме промысла Творца, создавшего каждую вещь для только ей присущей цели, нельзя было объяснить совершенство хватательных движений руки, хитросплетения паутины и сложное строение глаза. Но сейчас мы располагаем убедительнейшим и вполне удовлетворительным объяснением: причина всего, видите ли, – постепенные изменения естественного отбора, происходящие на протяжении тысячелетий. И всякий довод, нацеленный на то, чтобы отыскать присутствие разумного Создателя в Его творениях, обязан принимать во внимание красоту и убедительность этих доказательств, не должен отметать их с презрительной усмешкой и пытаться их опровергнуть ради защиты Того, кого нельзя защитить, пользуясь немощными и пристрастными умозаключениями.

– Совершенно справедливая мысль, сэръ. Это единственно верный подход.

– Но что думаете вы, мистер Адамсон? Ведь я не знаю, во что вы веруете и веруете ли вообще.

– Этого я и сам не знаю. Скорее всего, нет. Мои исследования и наблюдения привели меня к выводу, что мы продукт безжалостных законов поведения материи, ее изменения и развития, не более того. Но вот верю ли я в это в глубине души – не могу сказать. Вера не дана человеку изначально. Я бы даже сказал, что она в любом своем проявлении развивается, как искусство приготовления пищи или табу на инцест, вместе с развитием человеческой цивилизации. Убеждения, к которым приводит меня разум, постоянно меняются под воздействием инстинктов.

– Мысль о том, что приятие Творца столь же естественно для человека, как и его инстинкты, сыграет значительную роль в том, что я намерен написать. Что же до взаимоотношений инстинкта и разума в живых тварях, то здесь я в совершенном недоумении: есть ли у бобра первоначальный замысел плотины, понимает ли пчела... или продумывает... сложную шестиугольную форму сот, которые безукоризненно вписываются в любое ограниченное пространство? Так наш с вами свободный разум, мистер Адамсон, и приводит нас к убеждению, что постичь этот дивный мир и наш собственный разум как часть мира, разум, который умеет переноситься в прошлое и будущее, умеет отражать действительность, изобретать, созерцать и рассуждать, было бы невозможно без Божественного промысла, источника разума меньших братьев наших. Но этот Промысел для нас непостижим, и наша неспособность его постичь может проистекать лишь из двух причин. Первая – потому что должно быть так, а не иначе, потому что Божественная Первопричина разумна и она есть. Вторая, противная, – ее в последнее время все успешнее доказывают, – потому что наши возможности не бесконечны, мы такие же твари, как членистоногие или желудочные кисты. И творим Бога по собственному подобию, потому что по-другому не умеем. Но я не могу поверить в это, мистер Адамсон, не могу. Такая вера ведет в чудовищную мрачную бездну.

¹⁰ Пейли Вильям (1743–1805) – английский священник и философ-идеалист, автор ряда богословских работ. В своей «Естественной теологии» (1802) доказывал существование Бога, используя аналогию с часами и часовщиком.

– Мое безверие, – нерешительно начал Вильям, – можно объяснить отчасти тем, что я был воспитан в христианстве, совершенно отличном от того, что исповедуете вы. Сейчас я вспоминаю одну проповедь на тему вечного наказания: священник велел нам представить, что вся Земля состоит сплошь из песка и по истечении каждой тысячи лет всего одна песчинка отрывается и улетает в пространство. Затем нам велели вообразить медленный ход тысячелетий – песчинка за песчинкой, тот невообразимый срок, что должен миновать, пока Земля хоть сколько-нибудь заметно уменьшится в размере, и еще миллионы и миллионы неисчислимых миллионов лет, когда убыль сделается заметней, до тех пор, пока не улетит последняя песчинка, а потом нам сказали, что все это невообразимо долгое время тоже всего лишь песчинка в сравнении с бесконечностью вечной кары, и так далее. После чего нам живописали омерзительное и исключительно талантливо придуманное зрелище вечных мук: шипит горящая плоть, рвут нервы и выкалывают глаза, дух в вечном унынии, а душу и тело вечно терзает боль, которая не притупляется, не утихает на протяжении тысячелетий изощренной жестокости...

По-моему, такой Бог создан по образу и подобию тех людей, худших из людей, которые и сегодня своими бесчинствами приводят нас в трепет, – продолжал он, понизив голос. – Я заметил, что жестокость тоже бывает инстинктивной, по крайней мере у некоторых представителей нашего вида. Я знаю, что такое рабство, сэр Гаральд, мне довелось видеть, что обыкновенные люди могут сотворить с другими людьми, если это дозволено обычаем...

Отвергнув этого Бога, я почувствовал, что очистился, освободился, – мне точно открылась вдруг ослепительная истина. Я знал женщину, которую все эти ужасы привели к самоубийству. Добавлю, что за мое отступничество отец отверг меня и лишил наследства. Еще и в этом причина моей бедности.

– Надеюсь, у нас вы счастливы.

– Безусловно. Вы очень добры ко мне.

– Я бы хотел попросить вас помочь мне в работе над книгой. Нет-нет, поймите правильно, я не прошу писать книгу. Чтобы оформить и прояснить свои соображения, мне необходим собеседник, пусть даже оппонент.

– Сочту за честь, раз уж я здесь.

– Знаю, вам не терпится покинуть нас. Вновь отправиться в путешествие. Надеюсь, придет время, когда я помогу вам. Ведь мы обязаны либо самостоятельно исследовать сокровенные уголки природы и ее неведомую жизнь, либо поддерживать и поощрять других в этом предприятии.

– Благодарю вас.

– А разве Дарвин, когда пишет о строении глаза, не допускает существования Творца? Он сравнивает совершенство глаза с совершенством телескопа и, говоря о медленных изменениях в стекловидной глазной ткани и светочувствительном нерве, замечает, что, проводя параллель между разумом человека и факторами, формирующими глаз, «мы должны допустить существование некой силы, неустанно наблюдающей за изменениями в прозрачных тканях». Мистер Дарвин призывает нас допустить, что эта неустанно наблюдающая сила непостижима, что это – слепая необходимость, закон материи. Но я скажу вам, что сама материя заключает в себе великую тайну: как могла она возникнуть, как сумела организовать себя? – и, задаваясь подобными вопросами, не окажемся ли мы лицом к лицу с Предвечным, с Тем, кто вопрошал у Иова: «Где был ты, когда Я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. При общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» Да вот и Дарвин пишет, что прозрачные оболочки образуют «живой оптический прибор, настолько превосходящий прибор, сделанный из стекла, насколько Господни творения превосходят творения рук человеческих».

Так он пишет. И нам проще вообразить неусыпную заботу бесконечного наблюдателя, чем поверить в слепую случайность. Проще вообразить изменения в глазной жидкости, срав-

нивая их с песчинками из той проповеди; так и можно было бы, пожалуй, представить себе работу слепой случайности: песчинка, еще и еще песчинка – каждая неизмеримо мала и легковесна, но сколь значительны они в массе...

Мэтти Кромптон напомнила Вильяму о его обещании обустроить стеклянный улей и муравейник. Под руководством Вильяма собрали улей для пчел в ширину медового сота, в окне детской сделали отверстие и вывели в него леток; стенки улья завесили черной тканью. Пчел взяли у фермера-арендатора; они глухо жужжали, когда их переселяли в новый дом. Для муравьев привезли из ближайшего города стеклянный ящик и установили на отдельный стол, застланный зеленой бязевой скатертью. Мэтти Кромптон заявила, что вместе с Вильямом пойдут на поиски муравьев. Прошлым летом она заметила в вязовой рощице несколько видов муравьев. Они отправились вместе, взяв с собой два ведра, банки, ящички и пробирки, узкий совок и пару пинцетов. Мэтти шла быстро и молча. Она привела Вильяма к очень крупному муравейнику: многие поколения насекомых трудились над его постройкой, и Вильям наметанным глазом тотчас же определил, что это жилище рыжих лесных муравьев. Муравейник привалился к вязовому пню; купол из веточек, стеблей травы и сухих листьев служил ему кровлей. Неровные цепочки муравьев сновали внутрь и наружу.

– Как-то раз я попробовала держать муравьев дома, – сказала Мэтти Кромптон, – но, по-видимому, у меня тяжелая рука. Какой бы красивый дом я ни строила, сколько бы ни приносила им плодов и цветов, рано или поздно они скрючивались и умирали.

– Вам, наверное, не удалось отловить матку. Муравьи – общественные насекомые и живут лишь ради блага муравейника, центр которого – матка, или царица, остальные же заняты только тем, что ухаживают за ней и кормят. Однако, если она перестает производить потомство, они убивают ее и выволакивают из муравейника или просто обходят вниманием – и скоро она умирает голодной смертью, потому что не способна сама себя прокормить. Муравьи созданы, чтобы окружать заботой ее и ее потомство, пока она в расцвете сил. Чтобы устроить домашний муравейник, нам нужна царица. Рабочие муравьи утрачивают волю к жизни, если ее нет рядом, – перестают двигаться и становятся ко всему равнодушны, как девушки в депрессии, а затем выпускают дух.

– Но как отыскать царицу? Неужели придется разорить весь муравейник? Так мы нанесем огромный вред...

– Я похожу поищу муравейник помоложе, чтобы можно было перенести его целиком на новое место.

Он долго бродил, вороша листья палкой, провожая маленькие муравьиные караваны до трещин и щелей в корнях и земле. Мэтти Кромптон стояла на месте и наблюдала. На ней было коричневое шерстяное платье, строгое, без отделки. Темные волосы были заплетены в косы и уложены вокруг головы. Она могла долгое время простоять вот так, точно статуя. Вильям ощущал острое удовольствие: его пытливые «я», «я» охотника, не находившее себе применения в стенах Бридли-холла, вновь пробудилось. Под его пристальным взглядом лесная подстилка ожила и исполнилась движения: он увидел сороконожку, множество жуков, дождевого червя, шарики кроличьего помета, крохотное перышко, кладку мотылька или бабочки на травинке, раскрывающиеся фиалки, конические входные отверстия которых были покрыты тончайшей пылью, качающийся побег, вздрагивающий камешек. Он вытащил из кармана лупу, направил ее на клочок земли, покрытый мхом, галькой и песком, и увидел кипение незримых до того жизней: то пытались высвободиться из кокона полупрозрачные миллионногие бегуны, плотные, как пуговички, паучата. Они притягивали к себе его чувства и ум, словно тысяча магнитов. А вот гнездо черных муравьев, *Acanthomyops fuliginosus*; они обосновались небольшими семействами в лабиринтах ходов и укреплений в доме лесных муравьев. А тут, по опушке рощицы, марширует колонна кровавых муравьев-рабовладельцев, *Formica sanguinea*.

Ему всегда была любопытна их военная тактика. Он сказал об этом Мэтти Кромптон и указал на различие между рыжими лесными муравьями, *Formica rufa*, и рабовладельцами *sanguinea*: первые были рыжевато-коричневые, с более темным брюшком, чем голова, другие – полностью кроваво-красного цвета.

– Они вторгаются в гнезда лесных муравьев и крадут яйца, а вылупившихся муравьишек возвращают как собственных чад, и те становятся рабочими *sanguinea*. Захватчики и защитники дерутся насмерть.

– И этим похожи на людские сообщества, как и многим другим.

– Британские муравьи-рабовладельцы менее зависимы от своих рабов, чем швейцарские *Formica rufescens*, за которыми наблюдал Губер: он отмечает, что рабочие муравьи этого вида заняты исключительно захватом рабов; без рабского труда их племя рано или поздно вымерло бы, поскольку рабы выращивают их потомство и добывают для них пищу. Мистер Дарвин пишет, что, переселяясь в новый дом, наши рабовладельцы несут рабов на себе, тогда как более свирепых, но зависимых и совершенно беспомощных швейцарских господ на новое место переносят в своих челюстях рабы.

– Но может быть, и те и другие вполне довольны своим положением, – заметила Мэтти Кромптон. Она произнесла это равнодушно, со столь удивительной бесстрастностью, что было невозможно решить – даже если бы Вильям внимательно прислушивался к ее словам, – иронизирует она или просто из вежливости поддерживает беседу.

Но Вильям слушал вполуха: он нашел маленький, покрытый соломой муравейник и готовился произвести раскопки. Взяв у нее совок, он удалил несколько слоев земли, ошестившихся рассерженными муравьями-воинами, усеянных личинками и яйцами. Потом в несколько приемов раскопал центр муравейника, и муравьи бешено засуетились. Следуя его указаниям, мисс Кромптон собрала несколько крупных, прослоенных листьями и былинками кусков дерна вместе с рабочими муравьями, личинками и яйцами.

– Кусаются, – кратко заметила она, стряхивая мелких вояк с запястий.

– Да уж. Прокусывают кожу, потом очень грациозно изгибаются и впрыскивают в ранку муравьиную кислоту из брюшка. Отступаем?

– Нет. Я как-нибудь управлюсь с парой кипящих праведным гневом муравьишек.

– Но ни за что не справились бы с огненными муравьями, еще их называют *tucunderas*; стоило мне по неосторожности их растревожить, как они несколько недель не давали мне покоя. У бразильцев есть верная поговорка: огненный муравей – владыка. От него не спрячешься, не защитишься, его не остановишь; чтобы спастись от его набегов, люди бросают дома.

Поджав губы, Мэтти Кромптон выбирала муравьев из рукавов и рассаживала их по коробкам. Вильям разрыл один из ходов и обнаружил родильную камеру матки:

– Вот и она. Во всем своем великолепии.

Мэтти Кромптон заглянула в отверстие:

– Трудно поверить, что она и ее проворные слуги относятся к одному виду...

– Еще бы. Но она не столь непомерно толста, как матка термитов: та точно пузатая бочка и кажется величиной с гору по сравнению с маленькими послушными самцами, которые все время рядом со своей госпожой, или рабочими особями, которые снуют по ней, наводят чистоту и порядок, выносят бесконечно откладываемые яйца и всякий мусор.

Матка лесных муравьев была лишь вполовину крупнее, чем ее работяги. В отличие от тускло-рыжих рабочих муравьев она была толстая и глянцевиная, а ее тело опоясывали рыжие и белые полосы. Эти полосы объяснялись тем, что распиравшие ее яйца раздвигали рыже-коричневые пластины члеников, так что в промежутках были видны более уязвимые и эластичные белесые покровы. Голова сравнительно с телом казалась маленькой. Вильям подцепил матку пинцетом вместе с несколькими рабочими муравьями, которые ухватились за ее лапки. Он посадил ее на ватную подушечку в коробку и принялся наставлять мисс Кромптон

относительно того, какой величины и из какой части муравейника отбирать рабочих муравьев, личинки и яйца.

– Мы должны взять образцы почвы, растительных остатков, из которых построен муравейник, и запомнить, чем его обитатели питаются, а когда муравьи окажутся в новом доме, девочки, если им достанет терпения, смогут с пользой для себя проводить опыты, выяснять, каковы их предпочтения в пище.

– Не поискать ли нам и самцов?

– В эту пору мы их не найдем. В муравейнике они бывают только в июне и июле, иногда в августе. Они вылупляются, как полагают, из яиц, отложенных неоплодотворенными рабочими муравьями, это своего рода партеногенез. После спаривания с маткой живут недолго. Их легко узнать – у них есть крылья, а глаза огромной величины; они совсем не могут обходиться без посторонней помощи, заниматься строительством или поисками пищи. Естественный отбор, очевидно, способствовал развитию у них – в ущерб остальным – тех навыков, что обеспечивают успех в брачных танцах...

– Не могу не отметить, что у людей все как раз наоборот: успех женщины в этом предприятии определяет ее дальнейшую жизнь.

– Я и сам не раз об этом думал. В мире людей наблюдается приятный парадокс: на балах молодые девушки порхают в ярких бальных платьях, а юноши – в строгих темных костюмах. В дикарских же племенах внешней красотой, как и самцы птиц и бабочек, похваляются мужчины. Но, по-моему, жизнь матки не намного слаще, чем жизнь ее многочисленных, бесполезных и всеми презираемых поклонников. Я спрашиваю себя, кто они, эти маленькие твари, которые суется, нежно носят и кормят друг друга, кусают врагов, – личности в полном смысле слова или, подобно клеткам нашего тела, составляют единое целое и руководимы неким разумом, духом гнезда, подвигающим всех: и матку, и слуг, и рабов, и ее партнеров по танцу – трудиться на благо всего семейства, всего вида?

– А может, мистер Адамсон, вы зададите себе тот же вопрос в отношении людей?

– Очень может быть. Я родом с севера Англии – там наши ученые, владельцы мельниц и шахт рады бы превратить людей в хорошо притертые шестеренки исполинской машины. Вот и доктор Эндрю Ур¹¹ в «Философии производителей» выражает пожелание, чтобы рабочих обучали коллективной слаженности, «чтобы они отказались от бессистемных навыков работы и уподобились действующим с неизменной точностью сложным автоматам». Эксперименты Роберта Оуэна¹² – самая светлая сторона этой философии.

– Любопытно, но это уже другой вопрос, – проговорила мисс Кромптон. – Волеизъявление мельников – не дух гнезда.

Вильям наморщил лоб, размышляя.

– Возможно, природа одна и та же, – сказал он, – если предположить, что, обращая рабочих в части одной машины, они, как и все остальные, выполняют волю духа улья.

– Ах, вот как, – живо откликнулась мисс Кромптон, – я понимаю, о чем вы. Ваша мысль – это кальвинизм в современных одеждах, норовящий проникнуть через черный ход или, если угодно, через леток.

– Вы много думаете, мисс Кромптон.

– Для женщины? Ведь вы хотели сказать «для женщины», но потом из вежливости воздержались. Да, я люблю думать. От размышлений я получаю огромное удовольствие – как греющаяся на солнышке пчела или муравей, который щекочет тлю. Не считаете ли вы, мистер Адамсон, что мы должны снабдить наш искусственный муравьиный рай колонией тли?

¹¹ Ур Эндрю – английский экономист, автор труда «Философия производителей, или Экспозиция экономики промышленности предприятий Великобритании с научной, моральной и коммерческой точки зрения» (1835).

¹² Оуэн Роберт (1771–1858) – английский утопический социалист. Считал, что человек – порождение обстоятельств: «... зло проистекает из положения вещей».

– Стоило бы. И засадить его растениями, которые любит тля... Но потерпят ли тлю в классной?

Собравшиеся вокруг муравейника девочки взвизгивали от восторга и отвращения. Муравьи с образцовым прилежанием рыли землю и обустроивали новый дом. Мисс Мид, пожилая женщина с мягкими чертами лица и редующими волосами, из которых торчали шпильки, рассказывала девочкам о доброте муравьев: они трудятся ради общего блага, угощают сестер нектаром из своих запасов, ласково поглаживают друг друга и нянчат сестреночек, не вылупившихся из яиц и личинок, а потом заботливо переносят их из одного дортуара в другой, с бескорыстной самоотдачей чистят и кормят. Маргарет ткнула Эдит локтем в бок и сказала:

– Знаешь, кто ты? Маленькая личинка, маленький червячок.

– Да вы хуже червячков, – сказала Мэтти Кромптон, – перепачкались в земле по уши.

Мисс Мид, очевидно привыкшая не обращать внимания на мелкие стычки, мечтательным голосом завела рассказ про Купидона и Психею:

– Муравьи, милочки, помогали людям с незапамятных времен. Об этом и говорится в истории о несчастной принцессе Психее. Она была так прекрасна и так все вокруг ее любили, что богиня красоты Венера стала ей завидовать и велела своему сыну Купидону наказать прекрасную девушку. Королю, отцу девушки, сообщили, что он оскорбил богов и должен понести наказание: его дочь будет отдана в жены ужасному летучему змию. Ему надлежало нарядить ее в наряд невесты, отвести на самый верх страшно высокой скалы и оставить там для отвратительного жениха.

– Кто-то подоспеет и убьет дракона, – заявила Энида.

– Это из другой сказки, – возразила Мэтти Кромптон.

Мисс Мид раскачивалась на стуле, прикрыв глаза. Она продолжала:

– Так бедная девушка, одетая в кружева, в венки из цветов и с нитками чудных жемчужин, осталась на высоком утесе. Она очень горевала, но спустя какое-то время заметила, что ее наряды колышутся под дуновением слабых ветерков, и вдруг ветерки подхватили ее и отнесли далеко-далеко в великолепный дворец; стены мраморных залов были украшены шелковыми гобеленами, а для трапезы приготовлены золотые чаши и сладкие фрукты, но вокруг не было ни души. Она оказалась одна среди этой роскоши. И тут невидимые руки взяли ее потчевать, заиграли невидимки-музыканты; ей и пальцем не надо было шевелить: все ее желания немедленно исполнялись. А когда наконец она решила лечь спать, кто-то сладчайшим и нежнейшим голосом сказал ей, что теперь он ее муж и осчастливит ее, если она ему доверится. И она поняла, что может ему довериться, потому что такой прекрасный голос не мог принадлежать исчадию ада. И они были счастливы, но муж предупредил ее, что их счастье будет длиться вечно, если она станет слушаться его советов и, самое главное, не станет пытаться его увидеть.

Так она и жила в блаженстве, пока ей не захотелось повидать родных, и она сказала об этом желании своему нежному супругу. Он омрачился, ибо знал, что ее прихоть погубит их, но отказать жене не посмел. И тогда ее родные в мгновение ока были доставлены к ней западным ветром. Все, что они увидели, привело их в восторг, только ее сестры – как всякие сестры – позавидовали ей, милые мои, и хоть они радовались, что ее не сожрал змий, все же им было не по душе, что она так счастлива. Они стали ее допытывать, откуда она знает, что ее муж – не тот самый гадкий змий, ведь люди видели, добавили сестры, как змий плавал в реке неподалеку; они надоумили ее зажечь свечу, когда ее возлюбленный будет спать, и посмотреть, кто же он на самом деле. Она послушала советов сестер – ах, как неразумно! – и при пламени свечи увидела вовсе не змия, а прекрасного златовласого юношу. Но воск капнул на его лицо, он проснулся и промолвил печально: «Теперь ты больше никогда меня не увидишь», расправил крылья, ибо то был крылатый Купидон, бог любви, и улетел.

Но несчастная Психея была решительной девушкой и отправилась на поиски своей любви. Когда до Венеры дошла весть о ее странствиях, она заявила, что девушка – ее беглая служанка; Психею схватили и привели в покои разгневанной богини. Богиня дала ей кучу невыполнимых заданий, объявив, что, если Психея с ними не справится, ее прогонят и она никогда не увидит ни мужа, ни друзей, а станет простой рабыней и будет в тяжких трудах зарабатывать свой хлеб. Ей предстояло сортировать семена. Богиня смешала и свалила перед ней целую гору разных семян – пшеницы, ячменя, проса, чечевицы, бобов, семена мака и вики – и велела несчастной девушке до вечера отделить их друг от друга. Психея села и заплакала, потому что не видела края работе. И вдруг кто-то под ее ногами тоненьким и скрипучим голоском спросил, что за беда с ней приключилась. Это был крохотный муравьишко.

– Может, я смогу тебя выручить? – сказал он.

– Это тебе не под силу, – ответила Психея, – но спасибо и на добром слове.

Однако муравей и не подумал отступать: он позвал на помощь друзей, родственников, соседей, и вот целое муравьиное войско, муравьиное море...

– У меня мурашки по коже побежали, – сказала Вильяму Мэтти Кромптон, – стоило лишь представить этот легион добровольцев.

– А мне не по себе стало при мысли о горе семян, которую надо разобрать. Тотчас вспоминаю, что и моя работа меня ждет...

– Занятно, что сказочных принцев и принцесс так часто обязывают, помимо иных невыполнимых заданий, разбирать семена. Великому множеству незадачливых влюбленных героев поручается разбирать семена. По-вашему, антропология может дать этому удовлетворительное объяснение?

– Несомненно. Но оно мне неизвестно. Мне кажется, в этих сказках превозносятся мудрость и полезность муравьев. Возможно, на мое мнение влияет мой собственный интерес к муравьям. С тропическими муравьями нелегко жить бок о бок. Я попытался – жил какое-то время в хижине, где на земляном полу муравьи зойба насыпали два огромных муравейника. В той же хижине я сумел найти *modus vivendi* с несколькими семьями крупных коричневых домовых ос. Они строят совершенно удивительные гнезда, похожие на перевернутые кубки, подвешенные за ножку к перекрытиям. Мне льстило, что осы признали меня хозяином дома, в котором висели их гнезда, – они никогда меня не жалили, а на чужаков нападали. Мне казалось, что мы «нашли общий язык», – возможно, то была иллюзия: они с необыкновенным рвением истребляли крупных мух и тараканов, поражали их с невероятной точностью. Я научился восхищаться их красотой, изобретательностью, геройской свирепостью. И довольно хорошо изучил их искусство строителей и убийц.

– В сравнении с теми дикарями наши лесные муравьи должны вам казаться просто ручными.

– Здесь мне хорошо. Я делаю полезное дело, а кроме того, все так добры ко мне.

– Надеюсь, все останутся довольны вашей сортировкой, – проговорила Мэтти Кромптон.

Уж не померещилось ли ему, подумал он позже, будто за этими словами что-то скрывается?

Бывали мгновения, по мере того как весна вызревала в раннее лето, когда сортировка его утомляла. В определенном смысле эта работа представлялась ему подвигом во имя любви, однако он не предвидел вознаграждения. И о каком вознаграждении могла идти речь? Евгения предназначалась не ему, его отстраняли все дальше в пределы некоего срединного мира, где ему надлежало быть компаньоном девочек, компаньоном и помощником старика. Молодежь постоянно уезжала и возвращалась, у них становилось все больше друзей и подруг. Среди них был молодой человек по имени Робин Суиннертон, который часто по приезде, обхватив Евге-

нию за талию и улыбаясь ей снизу вверх, помогал ей спрыгнуть с ее черной кобылы Ночки. Тогда смятение, как удав, сжимало душу Вильяма Адамсона, смятение, вызванное ощущением блаженства, когда он представлял себя на месте молодого человека, обнимающего ее упругое тело, внезапным уколом слепой ревности и звуками рассудительно-холодного голоса, который внушал ему, что чем быстрее они объявят о помолвке, тем лучше для него, ибо тогда он от нее освободится. «Так стань свободным сейчас же, оставь надежду», – убеждал он себя, но слушать себя было невыносимо. Он рисовал пальцем на своих губах дивный изгиб ее губ – словно касался их ртом.

Он привык к одиночеству, не умел ни сплетничать, ни прислушиваться к досужим шепоткам и все же предчувствовал – так в теплые дни можно почувствовать на своем лице облако пылицы, осыпающейся с могучих деревьев, – что-то должно произойти. И вот однажды, направляясь по узкому и темному, как в монастыре, коридору в шестиугольный кабинет Алабастера, он столкнулся с Робинот Суиннертоном, который поспешал к выходу. Это был молодой человек с рыже-каштановыми кудрями и милой улыбкой; сейчас улыбка была просто ослепительной, и это насторожило Вильяма Адамсона. Робин едва не сшиб Вильяма с ног, остановился, чтобы извиниться, пожал ему руку и расхохотался:

– Спешу к своему счастью, сэр, голова только этим и занята...

– Этот юноша, – сказал Гаральд Алабастер, когда Вильям вошел, – просил руки моей дочери. Я дал согласие, он же говорит, что ему уже известен ее ответ, – так что поздравьте меня.

– Искренне поздравляю.

– Первый птенчик покидает наше гнездо.

Вильям повернулся к окну.

– За ним скоро улетят и другие, такова жизнь, – сказал он.

– Я знаю. Что тут поделаешь. Должен признаться, меня беспокоит Евгения. По-моему, это известие не сделает ее счастливой, хотя, может быть, я не до конца ее понимаю.

Вильяму показалось, что прошла вечность, прежде чем он понял, о чем речь.

– Так, значит... значит, замуж выходит не Евгения?

– Что? Ах нет. Я едва не сказал: «Ах нет, *уввы*». Замуж выходит Ровена. Ровена станет женой мистера Суиннертона.

– А мне казалось, мистер Суиннертон неравнодушен к мисс Евгении.

– Да и жена думала, но выяснилось, он любит Ровену. Евгению может огорчить, что Ровена выходит замуж первой. Она, как вы знаете, была помолвлена, но ее жених трагически погиб. С тех самых пор... не понимаю, в чем дело... к ней сватались многие, очень многие, если принять во внимание ограниченность круга знакомых по соседству, но она не... не знаю, то ли она демонстрирует холодность, то ли, может быть... поймите, Вильям, она молодец, она очень стойко перенесла потерю, не сломилась, не роптала, но, боюсь, вкус к жизни вернется к ней еще не скоро.

– Она прекрасна, сэр, она прекрасна... она само совершенство. Пройдет немного времени, и она найдет себе... достойного спутника.

– И я так думаю, но жена беспокоится. Мне кажется, радость матери будет омрачена, если первой замуж пойдет Ровена, – ведь это несправедливо; но можно ли – и нужно ли – мешать счастью Ровены? Впрочем, я не имею права обременять вас своими переживаниями по поводу Евгении в преддверии – и этим в первую очередь должны быть заняты наши мысли – столь счастливого дня для Ровены.

– По-моему, ваша тревога по поводу Евгении совершенно естественна, она... ее породила ваша чуткость... и я хоть и посторонний человек, мне тоже... – Он хотел сказать «тоже дорога Евгения», но осторожность взяла верх.

– Вы добрый молодой человек, вы умеете сопереживать, – проговорил Гаральд Алабастер. – Я очень рад, что вы сейчас с нами. Очень рад. У вас доброе сердце. А это – самое главное.

Теперь, когда Вильям виделся с Евгенией, он пристально вглядывался в нее, отыскивая признаки уныния. Она казалась спокойной и безмятежной, как и всегда, так что впопыху было подумать, что отец заблуждается на ее счет, если бы однажды Вильям не стал свидетелем странной сцены. Он спокойно направлялся к своему рабочему месту и, проходя мимо седельной и мельком взглянув в окно, увидел Евгению, которая разговаривала с кем-то, с кем – он не видел; она была расстроена и даже плакала. Казалось, она кого-то о чем-то умоляет. Послышались быстрые шаги, и Вильям пригнулся, чтобы его не заметили, – по направлению к дому прошагал Эдгар Алабастер, его лицо было искажено злостью. Чуть погодя во двор вышла Евгения и остановилась, застыла на секунду, а затем нетвердым шагом направилась в сторону выгона и вырытой вдоль сада канавы. Вильям понял, ибо любил ее, что слезы застилают ей глаза, понял, потому что постоянно наблюдал за ней, что ее самолюбие будет ранено, если кто-то увидит, как она плачет. Но он пошел за ней следом – ведь он любил ее – и, став рядом, устремил взгляд в сторону канавы, отделявшей дом от внешнего мира, которую со двора не было видно. Время шло к вечеру: длинные тени тополей протянулись через луг.

– Я не мог не заметить, что вы опечалены. Вам чем-то помочь? Я готов сделать все, что в моих силах.

– Мне ничего не надо, – глухо проговорила она, не выказывая, однако, желания избавиться от его общества.

Он не знал, что сказать. Он не смел выдать своей осведомленности о ее несчастье – ведь он узнал о нем не от нее самой. И не смел сказать: «Я вас люблю, я хочу вас утешить, потому что люблю», хотя сгорал от желания, чтобы она повернулась и выплакалась на его плече.

– Вы прекрасная и добрая, вы заслужили счастье, – сказал он глухо. – Мне невыносимо тяжело видеть ваши слезы.

– Вы очень добры, но помочь мне нельзя, уже невозможно. – Она невидящими глазами смотрела на долгие тени. – Мне лучше умереть, правда, хочу умереть, – сказала она, и слезы хлынули из ее глаз. – Мне надо умереть, – выкрикнула она, – надо умереть, раз Гарри умер.

– Я знаю о вашей трагедии, мисс Алабастер. Мне бесконечно жаль вас. Я уповаю на то, что вы найдете утешение своей душе.

– Нет, вы ничего не знаете, – отвечала Евгения. – Ничегошеньки. И никто не знает.

– В таком случае вы по-настоящему мужественны. Пожалуйста, не падайте духом, – он судорожно пытался подобрать нужные слова, – в вас все влюблены, вы просто не можете быть несчастной.

– Неправда. Все не так. Они полагают, что любят, но на самом деле не могут. Не могут. Я не могу быть любима, мистер Адамсон, не способна быть любимой, это мое проклятие, вы ведь не понимаете...

– Уверен, что вы ошибаетесь, – возразил он пылко. – Я не знаю никого более достойного любви, никого. Вам следует знать – я не имею права... если бы моя жизнь, мое положение в этой жизни были другими... короче говоря, я был бы готов на все ради вас, мисс Алабастер, вы должны это чувствовать. Я знаю, женщины чувствуют подобные вещи.

Она чуть вздохнула, почти утешившись, как ему подумалось, и опустила голову, перестав смотреть с неподвижностью статуи через канаву.

– Вы добрый и милый, – неожиданно ласково сказала она. – И мужественный. Пусть вы и не понимаете меня. Вы так добры ко всем, и к девочкам тоже. Какое счастье, что вы с нами.

– Это я почитал бы за огромное счастье, если бы вы назвали меня другом, несмотря на все различия между нами, если бы вы мне хоть чуть-чуть доверились. Не знаю, что я такое

говорю: с чего бы вам доверяться мне? Я бы так хотел что-то для вас сделать. Все равно что. Вы ведь знаете, что у меня совсем ничего нет. Сплошные фантомы. Но все же, прошу вас, повелевайте мною, если хоть как-то я могу вам пригодиться.

Она вытирала глаза и лицо кружевным платочком. Веки ее припухли и порозовели. Это его тронуло и возбудило. Она усмехнулась:

– Девочкам вы подарили стеклянный муравейник и улей. А мне однажды обещали облако из бабочек. Неплохая идея.

Она протянула ему маленькую руку, как всегда затянутую перчаткой, и он прикоснулся к ней губами, запечатлев невесомый, словно бабочка, поцелуй, который тем не менее колющей болью отозвался в его теле и затрепетал в жилах.

И он решил подарить ей бабочек.

Он понял, как она несчастна, и его отношение к ней изменилось. Он захотел защитить ее, и это стремление, сосуществовавшее теперь с обожанием, помогало ему замечать много нового: и как грубовато обходится с нею Эдгар, и как ее сестры воодушевленно и наперебой болтают о свадьбе, в то время как она бродит в одиночестве, – потому ли, что они не хотели делиться с ней, или потому, что она сама не выказывала желания принимать участие в их планах, Вильям не знал наверняка. Он начал собирать гусениц разных видов из разных мест и звал на помощь Мэтти Кромптон с девочками, не открывая им, для чего ему нужны гусеницы. Он велел приносить гусениц вместе с теми растениями, которыми они питались, на тех листьях, где их нашли. Он помещал гусениц в кроличьи и голубиные клетки, как только окукливались, и держал там до первой линьки. Вырастить облако оказалось задачей не из легких, но он не сдавался и вывел несколько бабочек – маленьких синих и разнообразных оттенков белого цвета, красных адмиралов, ванесс и перламутровок, а также пару зеленоватых лесных бабочек и множество разновидностей мотыльков: желто-коричневых горностаевых, лишайниц, древо-точцев и прочих ночных летунов. Лишь решив, что этих бабочек будет достаточно для облака, он попросил у Гаральда позволения выпустить их в оранжерею.

– Можно не опасаться нашествия прожорливых личинок – я позабочусь, чтобы они не повредили растения. Я обещал мисс Алабастер облако из бабочек, и теперь, кажется, оно получится.

– Вижу, терпения вам не занимать. Бабочки, разумеется, много красивее в полете, чем приколотые булавками. Евгения будет очарована.

– Мне хотелось... заставить ее улыбнуться, что еще я мог для этого сделать...

Гаральд взглянул на Вильяма Адамсона, и его белые брови сошлись на переносице.

– Евгения вам не безразлична.

– Я сделал для девочек стеклянные улей и муравейник. А ей пообещал, возможно по глупости, облако из бабочек. Надеюсь, сэр, вы позволите поднести ей этот... эфемерный дар. Они проживут, сэр, самое большее несколько недель.

Гаральд умел выглядеть снисходительным и проницательным, точно читал чужие мысли. Он ответил:

– Евгения будет в восторге. Как и мы все. Мы вместе с ней насладимся волшебством. Волшебство, Вильям, – это прекрасно. Метаморфоза – это прекрасно. Прекрасно, когда невзрачные бескрылые гусеницы превращаются в бабочек.

– Я не смею...

– Не говорите ничего. Ничего. Ваши чувства делают вам честь.

Однажды утром, чуть свет, когда все домочадцы еще спали, Вильям выпустил бабочек. В шесть часов, сбежав по лестнице вниз, он обнаружил здесь обитателей дома, которые разительно отличались от тех, кого он видел в дневное время: целая стая молодых женщин в чер-

ном беззвучно суетилась, переноса с место на место ведра с золой, ведра с водой, коробки с принадлежностями для натирания полов, метлы, щетки и выбивалки для ковров. Они, словно рой молодых ос, спустились из-под крыши; лица их были бледны, глаза туманны; они приседали, безмолвно приветствуя его, когда он проходил мимо. Некоторые были совсем еще дети, почти ровесницы девочек из детской, только последние были в изящных юбочках с кружевными оборками и атласными фестонами, а на этих, по большей части костлявых, были тесные однотонные корсеты, широкие черные юбки и жестко накрахмаленные чепчики.

Оранжерея соединяла библиотеку с крытой галереей церкви, в противоположной стороне от рабочего кабинета Гаральда. Она представляла собой прочное строение из стекла и чугуна под высоким куполом крыши. У стены бил фонтан, обложенный замшелыми каменными глыбами, мраморная нимфа подставляла кувшин под струю воды. В неглубокой чаше, куда падала вода, плавали золотые рыбки. Растительность была изобильной, а кое-где буйной; несколько чугунных решеток в форме листьев плюща и перевившихся ветвей поддерживали сплетение ползучих и выющихся растений, образуя, таким образом, наполовину скрытые от глаза ниши, внутри которых были подвешены огромные плетенки, полные ярких цветов, испускавших тонкий аромат. Повсюду в латунных, отливающих золотом широких горшках стояли пальмы, а пол был выложен блестящими пластинами из черного мрамора и под определенным углом зрения, при определенном освещении, казался черным зеркальным озером.

Вильям внес ящики с сонными насекомыми и бережно поместил их на влажную землю, в корзинах и среди листьев. Сын садовника недоверчиво наблюдал за его манипуляциями, но, когда пара бабочек покрупнее, согретых восходящим солнцем, запорхала под крышей, перелетая из плетенки в плетенку, мальчик оживился. Вильям велел ему держать двери закрытыми, а семью Алабастер не впускать под любым предлогом до тех пор, пока солнце не достигнет зенита и все бабочки не поднимутся в воздух; бабочки питаются светом, а согревшись в лучах солнца, они начинают танцевать. И когда это случится, он пригласит Евгению.

– Я обещал подарить мисс Евгении облако из бабочек, – сказал Вильям.

Парнишка бесстрастно заметил:

– Ей понравится, сэр, это точно.

Вильям остановил Евгению на лестнице после завтрака. Поскольку завтракали поздно, солнце было почти уже в зените. Ему пришлось дважды ее окликнуть: она была целиком погружена в свои невеселые мысли. И спросила немного раздраженно:

– В чем дело?

– Прошу вас, пойдете. Мне надо вам кое-что показать.

На Евгении было синее платье, украшенное клетчатými лентами. Наступило мгновение, страшный момент, когда казалось, что она сейчас откажет, но вот ее лицо смягчилось, она улыбнулась, повернулась и пошла с ним. Он подвел ее к оранжерее:

– Входите быстро и закройте дверь.

– Мне ничто не угрожает?

– Нет, ведь я с вами.

Она вошла, и Вильям закрыл дверь. В сверкании зелени и стекла он сначала ничего не увидел и решил было, что из его затеи ничего не вышло, но тут, точно они только и ждали девушку, коричнево-оранжевые, синие и светло-голубые, серно-желтые и облачно-белые, густого красного цвета и с павлиньими глазками на крыльях бабочки стали появляться из листвы, спускаться из-под стеклянного купола, проноситься мимо, парить, порхать; они танцевали вокруг нее и усаживались ей на плечи, касались ее раскинутых рук.

– Они принимают ваше платье за небо, – шепнул Вильям.

Евгения стояла не шевелясь, поворачивая голову влево и вправо. Все новые и новые бабочки подлетали к ней, повисали, трепеща, на синем платье, на жемчужно-белых руках и шее.

– Если вам неприятно, я их отгоню, – сказал он.

– О нет, – ответила она, – они такие легкие, такие нежные, словно расцвеченный воздух...

– Ведь почти облако?

– Облако и есть. Вы чародей.

– Это вам. У меня нет для вас ничего настоящего: ни жемчугов, ни изумрудов – ничего, но так хочется подарить вам хоть что-нибудь...

– Вы дарите мне жизнь, – сказала она, – они живые самоцветы, нет, они лучше самоцветов...

– Они думают, что вы цветок...

– Да, да. – Она медленно повернулась на триста шестьдесят градусов, а бабочки поднялись и, вновь усевшись, сложились в волнистые узоры.

Растения в оранжерее не были выходцами из какого-то одного места на земле; скорее, они были родом сразу со всех мест. Английские примулы и пролески, желтые нарциссы и крокусы сияли среди роскошных вечнозеленых тропических вьюнов, их слабый аромат смешивался с экзотическим ароматом стефанотиса и сладким запахом жасмина. Евгения не переставая кружилась и кружилась, бабочки порхали вокруг, плененная вода плескалась в чаше фонтана. Что бы ни случилось с ней, с ним, с ними обоими, он навсегда запомнит ее такой, в этом сверкающем дворце, где встретились два его мира, подумал Вильям; так и вышло: на протяжении всей последующей жизни ему временами вспоминалась девушка в синем платье, со светлыми, позолоченными солнцем волосами, среди вьюнов и весенних цветов, окруженная облаком бабочек.

– Они страшно хрупкие, – сказала она. – Их можно ранить простым прикосновением, убить, неосторожно прижав. Но я не причиню вреда ни одной. Ни за что. Как же мне отблагодарить вас?

Они уговорились, что она придет еще вечером, когда вместо бабочек в воздух поднимутся мотыльки, у которых расцветка нежнее: меловая, призрачно-белая, светло-лимонная, темно-желтая, серебристая. Целый день девочки то и дело вбегали в оранжерею и радостно вскрикивали, восхищаясь движением бабочек и игрой красок. Приглашение прийти вечером на них не распространялось. Вильям надеялся, что ему удастся в сумерках побыть с Евгенией наедине, просто тихо посидеть вместе. Такое он себе пообещал вознаграждение: из этого видно было, что обстоятельства пусть совсем немного, но изменились, как и его отношение к ней. Несколько раз он вспоминал слова Гаральда – загадочные, но исполненные некоего глубокого смысла: «Не говорите ничего. Ничего. Ваши чувства делают вам честь».

О каких чувствах шла речь? О его любви к ней или о почтении к ее недосыгаемости и сословному превосходству? Что ответит Гаральд, если он заявит: «Я люблю Евгению. Она будет моей, или я умру», – нет, так говорить смешно, может быть, сказать: «Я люблю Евгению; быть рядом с ней мука для меня, ибо я надеюсь на то, на что не имею права надеяться...» Что тогда ответит Гаральд? Скрывалась ли отеческая нежность в пристальном взгляде Гаральда, или это ему почудилось? Не возьмут ли верх отцовский гнев и негодование, если он заговорит? Может быть, Гаральд ценит в нем благоразумие и сдержанность?

Когда наступил вечер, один крупный кокон начал лопаться; Вильям взял его с собой в оранжерею: решил понаблюдать до прихода Евгении – это будет полезным занятием. Он присел на низкую скамейку, над которой нависали лозы дикого винограда и вился страстоцвет. Стеклопанельная стена, остуженная ночным воздухом, холодила ему спину. Кое-где в ней отражались мерцающие венчики светильников, спрятанных за пологом листьев. Местами стена

была прозрачна, и он видел темную бесцветную траву, пустое небо и тонкий серебряный серп луны. Облачка мотыльков кружили вокруг светильников, которые он для безопасности забрал металлической сеткой. Вильям не хотел, чтобы выращенные им насекомые обожгли крылья. Расцветки оказались еще красивее, чем он ожидал: травяная и бумажно-белая, кремово-желтая, искристо-серая. Большой мотылек – императорский мотылек, или ночной павлиний глаз, единственный представитель сатурнид на Британских островах, высвобождался, вспарывая оболочку куколки, встряхивался, расправляя мятые крылья, таращил огромные глаза и поводил мохнатыми усиками. Вильям не уставал дивиться, наблюдая за этим процессом. Взрослая подвижная ярко-зеленая гусеница, опоясанная коричневыми полосками, покрытая желтыми волосатыми бугорками, исчезала и внутри кокона обращалась в кремоподобную бесформенную массу. Из этого крема рождался толстый и глазастый императорский мотылек с бархатистой коричневой головой, покрытый мышинного цвета пухом.

Дверь, шелкнув, открылась, и он понял, что Евгения прислушивается, стараясь понять, здесь ли он. Потом раздались тихие шаги ног в мягких башмачках, шуршание юбок. И вот она подошла – в серебристом вечернем платье поверх сиреневой нижней юбки – морфо Евгения. Полумрак отобрал с ее лица обычные краски.

– Вот вы где! Как всегда, верны своему слову. А ваши мотыльки пытаются совершить самосожжение.

– Видите, я спрятал светильники в сетки, чтобы защитить их. Не могу понять, почему они одержимы идеей принести себя в жертву огню. Не уверен, что это можно объяснить тем, что, зажигая яркий искусственный свет, мы невольно обманываем их инстинкт самосохранения. Возможно, они принимают огоньки свечей за свет очень ярких небесных тел, по которым ночью находят дорогу. Хотя эта гипотеза не кажется мне всецело удовлетворительной. Присядьте, и посмотрим, примут ли вас мотыльки за луну, как бабочки приняли вас за небо и цветок.

Евгения присела рядом на скамью. Ее близость волновала его. Он очутился внутри той атмосферы, того света и запаха, который окружал ее и притягивал его, как водоворот притягивает корабль, как аромат цветка притягивает пчелу.

– Кто это?

– Новорожденный павлиний глаз. Самка. Скоро она окрепнет, и я выпущу ее из клетки.

– Она совсем слабенькая.

– Чтобы выбраться из куколки, требуется много сил. Все насекомые наиболее уязвимы во время метаморфозы. Они легко могут стать добычей хищника.

– Но здесь нет хищников?

– Конечно нет.

– Хорошо. Как здесь хорошо: луна светит, мотыльки безмятежно летают вокруг.

– Это награда, что я пообещал себе за ваше облако из бабочек. Недолго покойно посидеть с вами наедине. И все.

Она сидела, склонив голову, будто внимательно рассматривала мотылька. О стекло снаружи бился другой мотылек, пытаясь, судя по всему, попасть внутрь, к нему присоединился еще один. Трепетная самка задрожала и встряхнула крыльями.

– Не отвечайте... и не подумайте, что я хочу своими словами нарушить ваш покой, я лишь хочу сказать... вы не представляете, как важны для меня эти мгновения... я буду помнить их вечно... вашу близость и этот покой. Если бы все было иначе, я бы говорил вам... о другом... но я отнюдь не витаю в облаках; я рассудителен и не питаю никаких надежд... хочу лишь сказать вам несколько откровенных слов, потому что знаю: это вас не обидит...

Крупные насекомые, расправив крылья, ползли к ним по черному полу. Другие протискивались через маленькое отверстие в стеклянной двери и в полумраке вслепую двигались вперед или падали, паря в воздухе, с крыши. Насекомые стучались о стеклянные стены и крышу,

отчего те мелко подрагивали, постепенно дребезжание раздавалось все чаще и громче. Вот они приблизились, подобно бегущему в панике войску, захлопали крыльями вокруг головы Евгении, стрекоча, облепили ей лицо – тридцать, сорок, пятьдесят, целое облако самцов рвалось к оцепенелой самке. Их собиралось все больше и больше. Евгения пыталась отмахнуться от них, стряхивала с юбок, вытаскивала из рукавов и складок платья, не выдержала и заплакала:

– Отгоните же их. Мне противно.

– Это самцы сатурнии. Их таинственным образом притягивает самка. Я отнесу ее в другой конец оранжереи... видите... они летят за ней, оставив вас в покое...

– Вот еще один, запутался в кружеве. Я сейчас закричу.

Он пробрался к ней через суматошную толпу мотыльков и запустил пальцы ей за воротник, чтобы выдворить наглеца.

– Должно быть, дело в запахе...

Евгения всхлипывала:

– Какой ужас, они точно летучие мыши, точно привидения, какая мерзость...

– Тише. Я не хотел напугать вас.

Он дрожал. Она обняла его за шею, положила голову ему на плечо и буквально повисла на нем.

– Милая...

Она рыдала.

– Я совсем не хотел...

Она воскликнула:

– Виноваты вовсе не вы, вы хотели мне помочь. Просто все вокруг плохо. Я так несчастна.

– Из-за капитана Ханта? Вы до сих пор так сильно горюете о нем?

– Он не хотел жениться на мне. Он умер, потому что не хотел жениться на мне.

Она плакала, а Вильям держал ее в своих объятиях.

– Какая чушь. Каждый был бы рад на вас жениться.

– На самом деле это не был несчастный случай. Так только говорят. Он умер, потому что... не хотел... на мне... жениться.

– Почему не хотел? – спросил ее Вильям, словно спрашивал ребенка, вообразившего буку в пустом углу.

– Откуда мне знать? Но это правда. Мне совершенно ясно... что он не хотел... свадьба была готова... и наряды... все мои наряды тоже... купили все, платья для подружек невесты, цветы, – все, что нужно. А он... он не выдержал...

– Вы причиняете мне страдания своими словами. Мое самое заветное желание, и вам это известно, – просить вас стать моей женой. А я никогда не смогу это сделать, потому что вы состоятельны, я же не могу себя прокормить, не только жену. Я прекрасно это понимаю. Но невыносимо больно слышать то, что вы говорите, и не быть в состоянии... самому...

– Я не хочу выходить замуж за мешок с деньгами. У меня есть свои.

Наступило долгое молчание. Несколько одержимых страстью мотыльков неуклюже пролетели мимо и присоединились к пульсирующему ковру из самцов, облепивших проволочные стены клетки, в которой сидела самка.

– Что вы сказали?

– Мой отец – добрый человек, он верит в христианское братство, верит, что все равны в глазах Бога. Он полагает, что вы щедро одарены умом, и считает это очень ценным даром, столь же ценным, как земли, рента и все прочее. Он мне сам сказал.

Она посмотрела на него; ее глаза все еще были покрасневшими, припухшими и... раными.

– Можно было бы устроить двойную свадьбу, – сказала Евгения. – Я не хочу выходить замуж после Ровены.

Вильям судорожно сглотнул. Мотылек чуть коснулся крылом его потного лба. Вильям вдыхал призрачные запахи джунглей и сладкий густой аромат гардений. Маленькая розовая лишайница уселась на блестящие волосы Евгении под его подбородком. Его сердце бешено колотилось.

– Могу ли я поговорить с вашим отцом? Завтра?

– Да, – ответила Евгения и протянула губы для поцелуя.

Вильям полагал, что отношение к нему Гаральда резко изменится, стоит только ему заговорить о женитьбе на Евгении. Все это время Гаральд был к нему неопределенно добр, а временами, что казалось даже странным, выказывал горячую благодарность за беседы и внимание. Теперь, сказал он себе, все будет иначе. Патриарх, обороняясь, станет потрясать мечом. Вильяму дадут почувствовать, что он, человек без будущего и родословной, слишком самонадеян. Наверняка ему откажут от дома. Слепая уверенность Евгении в том, что такого не случится, лишь свидетельствует, насколько она невинна и доверчива. Вильяма раздирали противоречивые чувства. «Я умру, если она не будет моей», – кричала знакомым голосом его кровь. И в то же время ему снились картины, похожие на сны под воздействием паров каапи, будто он стремительно пролетает над лесами или при сильном бризе рассекает под парусами море, борется с течением на верхних порогах Амазонки или прорубает с помощью мачете дорогу в сплетении лиан.

Он сказал Гаральду, что давно и тайно любит Евгению и лишь благодаря случайности обнаружил, что и она разделяет – надеется, что разделяет, – его чувства. Он ни о чем не помышлял и не намерен был открывать свои чувства, но теперь должен просить ее руки, и, если ему откажут, он уйдет.

– Очень больно сознавать, что я не могу предложить вам ничего, кроме своей бедности.

– У вас есть мужество, ум и доброта, – возразил отец Евгении, – чтобы выжить, такими качествами должна обладать каждая семья. Кроме того, Евгения вас любит. Должен сказать, я бы многое отдал, чтобы она была счастлива. Ей столько пришлось пережить, и я уже перестал надеяться, что у нее достанет сил искать счастья в любви и браке. У нее есть состояние, оно закреплено завещанием и перейдет к ней...

От недостатка смелости или, возможно, из деликатности Вильям Адамсон не коснулся вопроса о том, как и где им предстоит жить и на какие средства. Ему, мужчине, который ничего не приносит в семью, казалось более чем вульгарным спрашивать, что ему причитается и причитается ли вообще. Гаральд продолжал говорить легко и туманно, давал расплывчатые и приятные обещания. Вильям был достаточно зорек, чтобы видеть их неопределенность, но не имел ни силы духа, ни оснований к ним придирааться или требовать большей ясности.

– Покамест вы с Евгенией можете оставаться здесь, – сказал Гаральд, – в лоне семьи, так что, когда вы, что не исключено, соберетесь в очередное путешествие, она будет среди родных. Само собой разумеется, вам не захочется сразу радикально менять свою жизнь, так что, думаю, у нас вам будет хорошо. Позже, если пожелаете, вы отправитесь путешествовать. Я надеюсь, так оно и будет. И надеюсь оказать вам весьма значительную помощь. А до тех пор, полагаю, вы великодушно согласитесь проводить часть досуга в беседах со мной. Очень на это надеюсь. Пользуясь ясностью вашего ума, я смогу намного легче распутывать хитросплетения рассуждений о людях и мире, в котором мы живем. Мы даже могли бы записывать наши дискуссии в виде философской беседы.

Вильям понял, что расплачиваться придется мыслями. Но рассуждать вслух было столь же естественно, как дышать воздухом, есть мясо и хлеб. И с того дня, когда Евгения дала согласие на брак, до дня свадьбы, который старались всемерно приблизить, чтобы не задерживать бракосочетания Ровены, – так что времени было ровно столько, чтобы успеть сшить свадеб-

ные платья, – все это время Вильям беседовал с Гаральдом Алабастером. Сам он со вздохом облегчения отрекся от отцовской религии, зиждившейся на муках, страданиях и обетованном блаженстве, – со вздохом христианина, с плеч которого спадает тяжкий груз, когда он минует болото уныния. Но Гаральд почти увяз в этом болоте. Его мысли были для него самого мукой; честность и скрупулезность собственных размышлений терзали и опустошали его.

Он часто говорил о вреде, который наносит вере тот, кто, не обладая даром убеждения, берется доказывать существование Бога или библейские истины. Как Вильям Уэвел¹³ смеет утверждать, будто продолжительность дня и ночи приспособлена к продолжительности человеческого сна? – спрашивал Гаральд. Ведь ясно как белый день, что все сущее живет и движется согласно определенному ритму: реагируя на тепло и свет солнца, а также на его отсутствие, соки поднимаются вверх по дереву, раскрываются и закрываются цветы, люди и звери спят или выходят на охоту, лето приходит на смену зиме. Нельзя помещать себя в центр вселенной, пока не убедишься наверняка, что ты этого достоин. Мы не должны творить Бога по своему образу и подобию, чтобы не выглядеть глупцами. Гаральд надеялся, порой вопреки здравому смыслу, что существование Божественного Творца будет убедительно доказано, и не терпел доводов типа того, что у мужчины есть соски, а у человеческого эмбриона – рудиментарный хвост, низводивших Творца до уровня неумелого ремесленника, который берется за работу, а затем начинает ее переделывать. Так позволено поступать человеку, но так не может поступать Бог – это ясно, если взять на себя труд размышлять трезво хотя бы секунду. Но тем не менее некоторые рассуждения об аналогии человеческого разума Божественному он принимал – они укрепляли его в его вере, и он не сбрасывал их со счетов.

– Что вы скажете об учении о красоте? – спросил он Вильяма.

– О какой красоте мы говорим, сэр? О красоте женщин, леса, небес или тварей?

– О красоте вообще. Я хочу сказать, что способность человека любить во всем красоту – любить симметрию, восхитительную яркость цвета, тонкое совершенство форм листьев, кристаллов, змеиных чешуек и крыльев бабочки – доказывает, что в нас есть нечто бескорыстное и духовное. Человек, который восхищается бабочкой, уже не грубое животное, Вильям. Он уже больше, чем бабочка.

– Мистер Дарвин считает, что красота бабочки призвана привлекать брачного партнера, а красота орхидеи – облегчить опыление ее пчелами.

– Я возражу: ни пчела, ни орхидея не испытывают столь же острой радости при виде совершенства цветов и форм. И можем вообразить Создателя, сотворившего мир, ибо Он упивался своим даром обратить камни, глину, песок и воду в такое разнообразие видов, ведь так? Мы можем очень ясно представить себе этого Творца, потому что и в нас живет потребность создавать произведения искусства не ради удовлетворения низменного инстинкта выживания, не ради сохранения нашего вида, а лишь потому, что они прекрасны и сложны и дают пищу душе.

– Скептик, сэр, возразил бы, что ваше рассуждение о произведениях искусства напоминает ему о Пейли и его часах, которые, по утверждению философа, должны всякого – стоит лишь ему найти две сцепленные шестерни – наводить на мысль о существовании Создателя. Возможно, восхищение красотой или формой, о котором вы говорите, – всего лишь то, что делает нас приматами, а не животными.

– Я, как и герцог Аржильский, считаю, что неотразимое великолепие райских птиц может послужить доказательством того, что в некотором смысле мир все же был создан, чтобы восхищать человека. Ибо птицы эти не способны восхищаться собой, но зато мы умеем восхищаться ими.

– Они танцуют для своих брачных партнеров, так же как индюки и павлины.

¹³ Уэвел Вильям (1794–1866) – английский историк и философ-идеалист.

– Но не чувствуете ли вы, что ваше умение восхищаться и удивляться соответствует чему-то, что находится вне вас, Вильям?

– И правда, чувствую. Но и задаю себе вопрос: обязан ли я кому-либо этим умением? Ибо Творец, если Он и есть, очевидно, совершенно равнодушен к собственным творениям, которыми мы так восхищаемся. У природы острые зубы, она беспощадна, как выразился мистер Теннисон¹⁴. Амазонские джунгли действительно будят чувство изумления благодаря своему буйству и великолепию. Но некий дух витает над ними – ужасный дух бездумной борьбы за жизнь и апатичной инертности – разновидности растительной алчности и всеобщего разложения, потому много легче поверить в некую неразумную природную силу. Ибо, я думаю, доводы деистов о том, что тигры и фиго-душители задуманы, чтобы не допустить страданий старых оленей и гниения древесных стволов, удовлетворят вас не более, чем рассуждения Уэвела о дне и ночи.

– Мир очень изменился, Вильям. И я уже не верю, как верил в детстве, в наших прародителей из рая, в то, что в змее сокрыт Сатана, в архангела с огненным мечом, закрывающего райские врата. Я достаточно пожил и уже не верю безоговорочно в Рождество Христа в холодную ночь, когда ангелы пели в небесах, и пастухи, дивясь, всматривались в высь, и волхвы везли через пустыню на верблюдах дары. Теперь мне преподносят мир, где мы таковы, каковы есть, благодаря изменениям, многие тысячелетия происходившим в мягких и костных тканях, мир, где ангелы и демоны не воюют в небесах, защищая всего лишь кто добродетель, кто порок, в этом мире мы едим и едят нас и мы претворяемся в чью-то плоть и кровь. Музыка и живопись, поэзия и сила духа – зыбкий мираж. Близится время, когда я просто истлею, словно гриб. Очень вероятно, что заповедь любить ближнего не более чем благоразумный инстинкт общежития, родительский инстинкт, он есть у всякого высшего примата. Одно время я очень любил картины, изображающие Благовещение: ангел с радужными крыльями, по сравнению с которыми крылья бабочки и райской птицы – бледная тень, ангел с бело-золотой лилией в руке преклоняет колени перед задумчивой юной девушкой, которой суждено стать Божьей Матерью, матерью, облеченной в плоть любви, мудрости, дарованной нам навечно или на время. И вот все это словно стерто, сцена пуста, и на фоне черного театрального задника я вижу самку шимпанзе, которая с недоумением смотрит из-под нависающих бровей, отвратительно скалит крупные зубы и прижимает к морщинистой груди своего волосатого отпрыска, – и это любовь, облеченная в плоть?

И знаю, что мой ответ – «да»: если Бог творит, Он творит человека из обезьяны; но утрата моя неизмерима, я на грани отчаяния. Я начал жизнь маленьким мальчиком, каждый мой поступок горел в золотой книге добрых и злых дел и должен был быть впоследствии взвешен и рассмотрен милосердным Господом, к кому я шел трудно и неуверенно. Я завершаю жизнь, как остов листа, который превратится в перегной, как мышшь, раздавленная совиным клювом, как теленок, которого ведут к воротам бойни, откуда нет возврата, за которыми только кровь, прах и тление. И однако, ни один зверь не может думать о том, о чем думаю я. Ни лягушка, ни даже гончая не смогут вообразить ангела Благовещения. Откуда все это?

– Это тайна. Может быть, тайна и есть Бог. Доказано, что тайна эта – материя: мы существуем и мы разумны, но материя остается таинственной по своей природе, как бы мы ни пытались разобраться в закономерностях ее метаморфоз. Законы изменения материи не объясняют ее сути и источника.

– Сейчас ваши мысли подкрепляют мое мнение. Но я чувствую, что всякое рассуждение – только потуга разума, слишком немого, чтобы превратить рассуждение в доказательство.

¹⁴ *Теннисон Альфред* (1809–1892) – английский поэт Викторианской эпохи, продолжавший в своем творчестве традиции «озерной школы». Поэт-лауреат с 1850 г. Широкою популярностью ему принесли «In memoriam» (1850) и «Принцесса» (1847), цикл поэм «Королевские идиллии» (1859). Цитата из поэмы «In memoriam» (1850).

Однако, кроме страха, есть и надежда. Откуда он, наш разум?

Вне стен шестиугольного кабинета много внимания уделялось тайнам мирским, материальным. Евгения, Ровена, как и другие девушки – ведь для невест требовалось много подружек, – посвящали все время примерке и подгонке нарядов. Портнихи, шляпницы и швеи без конца сновали по детским и будуарам. Краем глаза можно было увидеть странные картины: юные леди стояли неподвижно, укутанные в шелка, точно в кокон, а вокруг них суетились чистенькие и незаметные служанки, их рты щетинились булавками, а пальцы без устали щелкали ножницами. Для Вильяма и Евгении обустроивали новые спальные комнаты. Иногда Евгения приносила на его суд образцы саржи и дамаска. Он не позволял себе высказывать неодобрение и вообще был настолько равнодушен к комфорту, что его даже слегка забавляла эта бурная деятельность, однако не испытал особого удовольствия, оказавшись объектом внимания портного и камердинера Лайонела Алабастера, которые не только сшили ему свадебный костюм, но и заказали достойную джентльмена повседневную одежду для жизни на природе: брюки, куртки и башмаки. Время шло, и на кухнях восхитительно запахло свежими пирогами, студнями и пудингами. Теперь Вильяму полагалось проводить время в курительной комнате в компании Эдгара, Лайонела, Робина Суиннертона и их друзей, которых интересовали всего две темы: они говорили о разведении лошадей и охотничьих собак да о ставках и пари. Пропустив стакан-другой портвейна, Эдгар неизменно принимался пересказывать свои славные подвиги: однажды он на Саладине перескочил через стену дальнего загона, так что оба едва не свернули шею; в другой раз он на спор вскочил на Айвенго через окно в Бридли-холл, и они проехали от окна до стены по турецкому ковру; раз ему случилось в наводнение переплывать на Айвенго реку, и их едва не унесло течением.

Вильям любил во время этих рассказов сидеть в своем углу, спрятавшись за облачком дыма от сигары. На висках и шее Эдгара вздувались жилы. Он, как и его конь, был сильным, неуравновешенным животным. Рассказывая, он то понижал голос до мелодичного бормотания, то начинал надрывно кричать, так что больно было слушать. Вильям оценивающе разглядывал его. Он решил, что Эдгару в недалеком будущем суждено умереть от апоплексического удара и его смерть пройдет совершенно незамеченной, поскольку его существование бесцельно и лишено ценности. Он представил, как несчастная лошадь, всхрапывая, скользит по полу Бридли-холла, ее задние ноги окаменели от напряжения. А этот человек – он смеется, как смеялся, заставляя коня танцевать на каменных плитах, чего тому никогда бы не пришлось делать, живи он на воле. Очевидно, Вильям не до конца отрекся от отцовской суровой веры. Оценивая Эдгара Алабастера глазами Бога, в которого давно не верил, он видел в нем множество недостатков.

Однажды вечером, всего за неделю до свадьбы, он осознал, что и Эдгар приглядывается к нему. Он сидел, откинувшись на спинку, невидимый окружающим, а Эдгар рассказывал о том, как однажды проскочил на двуколке сквозь брешь в семи живых изгородях; должно быть, на лице Вильяма отразились его мысли, потому что он вдруг увидел прямо перед собой красную, потную физиономию Эдгара.

– А у вас не хватило бы на это ни смелости, ни силы. Сидите здесь, глупо улыбаетесь, а такой трюк вам не по зубам.

– Несомненно, – ответил миролюбиво Вильям, вытянув ноги и расслабившись: он знал, что так только и можно противостоять столь злобному напору.

– Мне не нравится, как вы себя ведете. И никогда не нравилось. Складывается впечатление, что вы все время ехидно про себя ухмыляетесь.

– У меня нет нужды ехидничать. Ведь мы теперь как братья, я надеюсь, и я не должен давать вам оснований подразумевать меня в насмешке. Это было бы дурно.

– Ха, братья. Какая чушь. Вы дурно воспитаны, сэры, вы совсем не пара сестре. В вас течет дурная, плебейская кровь.

– Не принимаю обвинений ни в дурной, ни в плебейской крови. Я сознаю, что неровня вашей сестре, потому что не имею ни больших перспектив, ни состояния. Ваш отец и Евгения отнеслись ко мне очень великодушно, не обратив на это внимания. Надеюсь, со временем вы смиритесь с их решением.

– Вам бы надо ударить меня. Ведь я вас оскорбил. Вы – презренное существо, вы безродны и трусливы. Так встаньте же и ответьте на вызов.

– Незачем. Что до родовитости, так мой отец был честным и добрым человеком, а мне неведомы иные добродетели, достойные уважения. Что же касается смелости, так позвольте вам сказать, что я прожил десять трудных лет на Амазонке, где меня не раз пытались убить, где я постоянно рисковал умереть от укуса ядовитой змеи, что я пережил кораблекрушение и две недели провел на спасательной шлюпке в открытом океане. Можно ли утверждать, что при этом я выказал меньше смелости, чем вы, когда заставили несчастное животное прыгать в окно? Я знаю, что такое истинная смелость, сэры. Быть смелым не значит бросаться с кулаками на обидчика.

– Хорошо сказано, Вильям Адамсон, – проговорил Робин Суиннертон, – хорошо сказано, дружище.

Эдгар схватил Вильяма за грудки:

– Она не будет твоей, слышишь? Ты недостойн ее. Вставай!

– Прошу вас, не дышите мне в лицо. Вы походите на разъяренного дракона. Я не намерен из-за вас бесчестить семью, членом которой надеюсь стать.

– Поднимайся!

– На Амазонке юнцы из местных племен, одурманившись спиртным, ведут себя точно так же. И нередко по неосторожности убивают друг друга.

– А мне плевать, если ты умрешь.

– Согласен. Но не наплевать на собственную жизнь. А если умру я, каково будет Евгении? Ей уже пришлось однажды...

Что он говорит? Его ужаснуло, что он коснулся покойного возлюбленного Евгении, пускай и в гневе. Косвенный намек, прерванный на полуслове, поразительно подействовал на Эдгара. Он побелел, неуверенно выпрямился и тяжелыми руками принялся механически отряхивать брюки. Вильям подумал: «Теперь уж он точно меня убьет» – и отклонился в сторону, чтобы избежать удара, готовый вскочить и ударить Эдгара в пах. Но тот лишь выдавил из себя нечто нечленораздельное и, продолжая шлепать ладонями по одежде, вышел из комнаты. Лайонел сказал:

– Прошу вас, не... не обращайтесь внимания на выходки Эдгара. Он буен в подпитии, но, когда хмель выветривается, подчас и не припомнит, что произошло. Вас оскорбили винные пары.

– Что ж, я рад, если дело только в этом.

– Наш жених молодчина. Цивилизованный человек. Разве мы на войне? Мы – цивилизованные люди в смокингах, и сидим, когда полагается сидеть. Я восхищаюсь вами, Вильям. Эдгар – анахронизм. Вы уж точно не предполагали, что мне известны такие слова.

– Почему же. Спасибо за вашу доброту.

– Нам надо чаще видеться.

– С огромным удовольствием.

Впоследствии Вильям с трудом мог припомнить, какие чувства испытывал в день свадьбы. Он отметил про себя – точно был не женихом, а сторонним наблюдателем, что всякая церемония вызывает в нем не только ощущение значительности происходящего, но и

обостренное ощущение нереальности. Он решил, что это ощущение могло проистекать из отсутствия веры в христианское Писание, в христианский мир, который так трогательно описал ему Гаральд. Аналогии, не имеющие отношения к происходящему, всплывали в памяти даже в эти священнейшие минуты, и, стоя бок о бок с Робином Суиннертоном перед завывающим органом в приходской церкви Святого Захарии и наблюдая за тем, как, ведомые под руки Эдгаром и Лайонелом, по проходу между рядами к ним идут Евгения и Ровена, он думал о религиозных праздниках в Пара и Барре, видел, как несут к церкви куклы Девы Марии с нарисованной улыбкой, убранные кружевами, шелком и серебряными лентами, вспоминал индейские пляски и туземцев в масках сов, ибисов и анаконд.

Но свадьба была истинно английской, весьма буколической. Евгению и Ровену одели как сестер – но не близнецов – в белые шелковые платья с длинными кружевными шлейфами; одно было щедро украшено розовыми бутонами, другое, платье Евгении, – кремово-золотистыми кружевами. На обеих были короны из розеток и жемчужные ожерелья. Обе держали букеты из лилий и роз, а когда процессия приблизилась и он встретил свою невесту, от благоухания цветов закружилась голова. За ними следовали маленькие девочки с розовыми и золотыми лентами в волосах, в белых тюлевых платьях, перехваченных в талии атласными поясками; они несли корзины с цветочными лепестками, чтобы осыпать ими новобрачных. Церковь была битком набита: родных и друзей Вильяма не было, зато в избытке были представлены Алабастеры и Суиннертоны, их соседи и знакомые, и все – украшенные цветами и лентами, и все кланялись молодым. Ровена раскраснелась от возбуждения, а Евгения была бледна как воск, бледные губы, ровные, без пятнышка, бесцветные щеки, лишь сияло золото опущенных ресниц. Они произнесли слова брачного обета, и Гаральд обвенчал дочерей, повторяя вопросы звучно и с удовольствием, а затем сказал, как трогательно подобное двойное бракосочетание: становится совершенно ясно, что семья выросла, а не уменьшилась, как обычно случается после свадьбы. Ибо Ровена останется в их приходе, а Евгения остается до поры в родном доме, который стал родным и Вильяму Адамсону, – как тут не радоваться?

Вильям должен был бы почувствовать и услышать, что их души как одна произносят слова обета, но этого не случилось. Он чувствовал лишь мягкость великолепного наряда, облекавшего тело Евгении, аромат цветов, слышал, как безукоризненно и четко она отвечала на вопросы отца в отличие от Ровены: та запинаясь и сбивалась, прикрывала рукой рот и улыбкой просила мужа извинить ее. Евгения смотрела прямо перед собой, на алтарь. Когда Вильям взял ее руку, чтобы надеть кольцо, ему пришлось потрудиться, чтобы надвинуть его на ее вялый, неживой палец. И, стоя рядом с ней в церкви, отделенный от нее пышными юбками, он подумал: «Как быть, если и ночью она будет такой оцепенелой?» А потом подумал, что наверняка многие мужчины на его месте втайне боялись того же, о чем не скажешь вслух. А когда они двинулись к выходу сквозь толпу почтенных дам в украшенных цветами чепчиках, господ в черных фраках и шелковых галстуках, скромно одетых слуг в соломенных шляпах и работников с фермы, стоявших у самой двери, он подумал, что, пожалуй, на свадьбе каждый гость беспокоится о молодых: «Как-то у них все выйдет?» Идя к выходу, он чувствовал, как потаенные мысли льнут к нему, щекочут его и покалывают. «Она слишком невинна, она ничего не знает», – решил он. И попытался представить, как леди Алабастер рассказывает Евгении о тайнах супружества, но у него ничего не выходит. Леди, в переливающимся розово-лиловом платье, сидела в первом ряду и ласково им улыбалась.

«В конце концов, все переживают первую ночь», – решил он, когда, сощурился от яркого света, ступил на церковный двор, где их встретили птичий гомон и пронзительный визг девочек. Род людской продолжается, и повсеместно, еженощно невинные девушки становятся женами и матерями. Рука Евгении лежала недвижно в его руке, жена была очень бледна и едва дышала. Ее мысли и чувства были ему неведомы.

Девочки осыпали их лепестками, налетел ветер, и лепестки взмыли ввысь облаком розовых, золотых и белых крылышек. Девочки носились вокруг молодоженов, пронзительно кричали и швыряли в них пригоршни мягких снарядов.

День прошел за трапезой, в речах и беготне по лужайке, а под конец в танцах. Вильям танцевал с Евгенией, по-прежнему бледной и молчаливой, внимательно следившей за своими движениями. Танцевал с Ровеной – она без остановки смеялась, и с Энидой, которая все болтала о том, как он, незнакомец с потерпевшего крушение корабля, объявился в их доме. Мимо проносились Евгения в объятиях Эдгара, и Лайонела, и Робина Суиннертона, и даже когда смолкла музыка, казалось, что все продолжают кружиться в вальсе. Наконец молодая чета Суиннертонов уехала к себе, и Алабастры занялись приготовлениями ко сну, а Вильям не мог решить, куда же направиться ему, но никто ему не подсказал. Эдгар и Лайонел вели праздную беседу в курительной, но он знал, что там его не ждут, да у него и не было желания к ним присоединиться. Гаральд, проходя мимо по коридору, остановил его и сказал: «Благослови тебя Бог, мальчик мой» – только и всего. Леди Алабастер ушла к себе рано. Вещи Вильяма перенесли из комнатки на чердаке в его новую туалетную комнату, смежную со спальней, обустроенной для него и Евгении. Туда он и поднялся, встревоженный и неприкаянный, – Евгения ушла к себе раньше, – ломая голову над вопросом, обязан ли он соблюсти некий предварительный обряд.

В его спальне камердинер стелил постель и согревал ее, что показалось Вильяму излишним. Для него приготовили свежую ночную рубашку и расшитые Евгенией шелковые тапочки. Тощий камердинер, в черном сюртуке, с длинными белыми руками и мягкими рыжими бакенбардами, налил из синего кувшина в таз воды для умывания и вручил ему мыло и полотенце. Показав, где лежат новые, слоновой кости щетки для волос, подарок Евгении, камердинер поклонился и беззвучно исчез. Вильям прошел к двери спальни и постучал. Он не знал, как себя чувствует жена и как ему вести себя. Но робко надеялся, что они обо всем договорятся.

– Войдите, – раздался звучный голос, и он отворил дверь.

Евгения стояла на сброшенном смятом платье, утопая в кружевах. Над юбками, как в вечер их первой встречи, вздымались ее мраморные непорочные плечи. Венок, брошенный на туалетный столик, уже увядал. Худенькая, в черном шерстяном платье горничная, вынув булавки из волос Евгении, расчесывала освобожденные шелковистые пряди, и они ручейками растекались по ее плечам. Каждый раз волосы вздымались навстречу щетке и приникали к ней, пока горничная не взмахивала ею в очередной раз. Они потрескивали.

– Простите, – сказал он, – я, пожалуй, уйду.

– Марте осталось расстегнуть крючки и расчесать меня. Чтобы волосы не секлись, надо ежедневно по меньшей мере двести раз проводить по ним щеткой. Вы не слишком утомились?

– Нисколько, – ответил он, оставаясь в дверях. Какая белоснежная у Евгении кожа. Должно быть, и соски у нее белые. Ему вспомнилась строчка из Бена Джонсона: «Так бела, так нежна, так прелестна она!» И тут он почувствовал себя непрошеным гостем, да еще в присутствии Марты, и смутился; горничной тоже стало неловко, и потому она отвернулась и принялась работать щеткой еще усерднее.

Но Евгения не смутилась. Она переступила теперь уже ненужные оборки и воздушные шелка и сказала:

– Как видите, мы почти закончили. Убери кружева, Марта. Перестань расчесывать и унеси все. Не знаю, все ли здесь так, как вы ожидали. Вам нравятся комнаты? Я постаралась подобрать тона, которые, кажется, вам нравятся, – зеленоватый и кое-где малиновый. Вам нравится?

– О да. Чудесно, очень уютно.

– Не дергай, Марта. Расстегни крючки здесь и здесь. Теперь уже совсем недолго, Вильям.

Значит, ему велят уйти. Оставив дверь приоткрытой, он вернулся в туалетную комнату, облачился в ночную рубашку и надел уютные тапочки. Постоял, прислушиваясь к каждому звуку, свеча и луна за окном освещали его фигуру в ночной рубашке, забавную, точно он вернулся в простыню. Он слышал, как суетилась горничная и как скрипнула кровать, когда Евгения забралась в нее. Наконец, тихонько постучав, в дверях появилась горничная:

– Мадам готова принять вас, сэ. Все готово, вы можете войти.

Она придержала дверь, когда он проходил, присела, поправила постель и, опустив глаза, бесшумно выскользнула из комнаты.

Он боялся причинить Евгении боль. Но еще больше он полусознанно боялся ее осквернить, как земля из стихотворения Джонсона запачкала снег. Он не был чист. Его научили кое-чему, даже научили многому, на танцах в Пара и в мулатских поселках ночами после танцев, и лучше бы сейчас о том не вспоминать, хотя, с другой стороны, и такой опыт мог пригодиться. Евгения сидела в постели; на необъятной кровати с пологом и занавесями громоздились одна на другой мягкие перины, набитые гусиным пухом, подушки, отороченные белыми кружевами, и мягкие валики – мягкое гнездышко, свитое на большой и мрачной кровати. «Как же невинная самочка должна трепетать перед самцом, – подумал он, – это и понятно, ведь она так нежна, так бела, незапятнанна, неприкосновенна». Он стоял, опустив руки.

– Ну же, – сказала Евгения. – Я здесь. Мы оба здесь.

– Милая моя. Никак не могу поверить своему счастью.

– Еще немного сомнений, заставляющих вас стоять на пороге, и вы простудитесь.

На ней была сорочка *broderie anglaise*¹⁵, расчесанные волосы веером рассыпались по плечам. В колеблющемся свете ее лицо танцевало у него перед глазами, а вокруг свечи танцевал и метался одинокий горностаевый мотылек. Вильям медленно-медленно приблизился к ней, страхась своего дурного опыта и своей силы, а она засмеялась, задула вдруг свечу и скрылась под одеялом. Когда и он пробрался внутрь, она протянула к нему невидимые руки, и он коснулся ее мягкого тела. Он крепко прижал ее к себе, чтобы утишить дрожь, ее и свою, и проговорил, уткнувшись в ее волосы:

– Я полюбил тебя с той самой минуты, как увидел.

Она ответила тихим, бессловесным стоном, немного испуганным, немного похожим на чириканье птички, устраивающей гнездовье. Он гладил ее волосы и плечи и чувствовал, как на удивление крепко и уверенно она его обнимает, как ее ноги касаются его ног. Все глубже погружалась она и тянула его за собой вглубь темного и теплого гнезда, где почти нечем было дышать и становилось все жарче, так что на их коже выступил пот.

– Я не хочу, чтобы тебе было больно, – сказал он, а ее вздохи, вскрики и знаки удовольствия становились призывнее, когда она, смеясь, то с силой прижималась к нему, то отстранялась от него.

Какое-то время он следовал за ней, ловя ее горячие руки, и осмелился наконец дотронуться до ее груди, живота, спины; она же отвечала знаками – то ли страха, то ли удовольствия, этого он не понимал. Наконец страсть пересилила его, и он, вскрикнув, вошел в нее, и острые зубки впились ему в плечо, и она, содрогнувшись и отпрянув, приняла его.

– Милая, – прошептал он, оказавшись во влажном тепле, – милая, сладкая моя, ты прелестна.

Она издала странный звук – полусмех-полурыдание. Он думал о тайне взаимного познания, о том, на что способны мужчина и женщина, как и другие твари, когда они безбоязненно подчиняются инстинкту. Евгения, белая и холодная как снег Евгения уткнулась в него горячим лицом и непрерывно целовала и целовала его в шею, где пульсировала вена. Ее пальцы

¹⁵ Английская вышивка, вид декоративной вышивки по белому полотну (*фр.*).

вплелись в его волосы, их ноги сплелись – неужели это та самая Евгения, та, про которую он писал: «Я умру, если она не будет моей»?

– Любимая, – сказал он, – как счастливы мы будем, как же счастливы мы будем... это просто сказка.

Она засмеялась, перекатилась на спину и призывно притянула его к себе. Потом они заснули беспокойным сном, и когда в предзвездном сумраке он проснулся, увидел, что ее огромные глаза устремлены на него, и почувствовал, как руки ее касаются его укромных мест, и услышал знакомые всхлипы, то понял, что она просит еще, еще.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.